

БОРИС ФИЛИППОВ



ПРЕДАНИЯ

СТАРИНЫ

ГЛУБОКОЙ

Борис Филиппов

БОРИС ФИЛИППОВ

**ПРЕДАНИЯ СТАРИНЫ
ГЛУБОКОЙ**

**Рассказы
Легенды
Стихи**

Вашингтон, 1971.

Обложка работы Евгении Жиглевич

Copyright © 1971, by author

Printer: I. Baschkirzew Buchdruckerei,
8 München 50, Peter-Müller-Str. 43.
Printed in Germany

Лесному Зверю

Как оттиск букв неведомых на поле
Иконы старой строгого письма,
Как память боли — ничего не боле —
Не ткань, не рвань, а тонкая тесьма.

Душа в крови. И кров души — не камень, —
Шатры кочевий отчих. Степь. Басма.
А письмена икон сжирает пламень —
Рубины букв прощального письма.

И память боли. Ничего не боле —
Чебрец на поле, русая коса . . . —
Уволь же, воля! Боль — задаток воли.
В степи приволья сумерек роса . . .

1960

ПРЕДАНЬЯ СТАРИНЫ ГЛУБОКОЙ

Цветок засохший, безуханный . . .
Пушкин

Вот получил. Не лепестки, а пыль.
Лишь стебелек топорщится засохший.
Была иль нет? То небыль или быль?
Клочок души, рукою перемогшей
В конверт засунутый. Скупые строчки. Два
Десятка букв. И роза из букета.
Пыль розы. Подпись — и едва-едва
Сквозящая оскомины привета.
Нет, небыль. Не прошло. Кровоточит.
И тлен цветка на паутине строчек.
И вместо букв — ряды безмолвных точек.
Да, не забыт. — Убит.

1960

БЕЕР НАРАСПАШКУ

Сколько ж мне лет? Уж и сама не помню. Знаю только, что как скончался Николай Павлович, не старой еще была. Еще многие, многие заглядывались на меня. Кость у меня, видите, тонкая, а кожа была... Ну, грех на старости лет хвастать. Мать-то моя тоже актеркой была — простой фигуранткой. Дочкой театрального портного. А отец мой, видать... Отца ведь я не знаю: как ни спросишь, бывало, мать, а она — то молчит и улыбается, а то буркнет: зовут, мол, зовуткой, а на деле — утка. И всё.

Ну, раз мать — фигурантка, то и меня — в театральное училище. Учили нас танцам, словам некоторым французским — для балета они необходимы, да светским манерам, чтобы в обществе не потеряться. Ведь к нам, дансеркам, ездили и офицеры гвардейские, и бары всякие, да и много кто повыше захаживали. Заезжали и в училище еще театральное. Многие из наших на этом большую карьеру сделали. Но я — я-то дикаркой была, весь этот флёрт был не для меня. Подруги на смех меня поднимали: «принцессой-недотрогой» прозвали.

Тогда нас многому учили, что теперь редко-редко кто знает. Вот, к примеру, уже при государе-императоре Александре Николаевиче затащили как-то меня силóm на театр. Гляжу — дансерки в испанском танце почем зря веерами обмахиваются. Разве ж не смех? А ведь веер — это в наше время был он заменой разговора при флёрте. Вы не подумайте: врать не буду: монашками женщины — куда уж там! — в наше время никак не были, а вот слов не произносили до времени. Всё дама поручала сказать своему вееру. Скажем, нравился ей очень кавалер, но очень уж он на балу, с самого первого разу, наглядно к ней приступает. И не видит, что тут же, неподалеку, ее муж смотрит на них и хмурится. Вот дама и отмахивается широко развернутым веером: значит: я замужем. Но не хочет дама, чтобы это кавалера ее отпугнуло. Вот она сразу же сворачивает веер, — и стрелой его к кавалеру направляет. А это означает (все это тогда знали): можете, мол, быть смелы и решительны. «Придти к вам разрешите?» — шепчет влюбленный. Дама раскрытый настез веер к правой щеке свой прижмет: да, значит. — «Сегодня?» — уже в нетерпении кавалер. Дама взглянет на мужа, а он уже еле сдерживается, — и веер распахнутый к левой щеке: это — нет, не сегодня. И запахнет веер, и приоткроет его, скажем, на третьей планке: в среду, мол, я думаю, можно будет. А потом, как бы в досаде, по колену веером раз одиннадцать похлопает: дескать, в одиннадцать утра, когда муж, скажем, в Сенате . . . Ну, это так, к

примеру. Язык веера всяк понимал! А уж лет через десять-пятнадцать, гляжу, махают веером бесперечь и без всякого толку. И это еще называется — дансерки! Смешно даже.

Нет, теперь, говорят, дамы и читают, и пишут даже стихи там, а только нет у них прежней тонкости обхождения. А что в том, что читают?! Ведь всё одно умней мужчин не станут, а свое, дамское, совсем позабыли. Но и то сказать — в свет пошли гулять всякие: не по роду племени, не по барскому семени, а по толстому карману — герои не нашего роману. Оно уже и при матери моей началось. Вот, сама помню: неподалеку от Петербурга барин один, статский генерал из купцов вологодских родом, выстроил дачу — уймищу денег ухлопал, но в парке, скажем, всех богинь и граций статуи в тельный цвет повыкрасил — для натуральной завлекательности, как сам объяснял. И всюду повывесил, как купчишка, вывески жирным золотом по черному: над входом в парк его: «Для добрых и правдивых без собак»; на беседке: «Храм Уединенного Отдохновения: не зачем далеко, и здесь прелестно». А сам с одышкой, подагрик, но тоже: дансерку содержал — чтоб от других не отстать . . .

И еще: уменье одеться не только по моде, а даже вопреки моде, по капризу своему, но к лицу. Где оно теперь?

Помню как сейчас. Давали в Петергофе, на озере в Бабигоне, балет «Наяда и рыбак». Прямо на озере самом был устроен помост: балетмейстер наш, француз Перрот, поставил этот

балет перед Ольгиным Павиллионом. Ох, и намучились мы с ним! Он по-русски два-три слова, а мы по-французски только и знали, что балетные слова. Спектакль шел при луне, деревья и куртины цветочные, и павиллион, и деревня Бабигон вдаль — всё это в плосках, разноцветных фонариках — полная иллюминация. Тюники на нас, наядах, газовые, каждая блестящая на них горит и переливается при луне... Мы к помосту подплывали на маленьких лодочках в виде раковин... Танцевала я в балете третью наяду. А после спектакля переделалась я к лицу, именно не по тогдашней моде, а по моде времен Александра Павловича: актерке-то это иногда можно было: платье полупрозрачное прямо на газовую рубашку, без лифа, с лентами-перемычками вместо рукавов, с глубоким вырезом, высоко под грудями подпоясанное шелковой лентой цвета упавшей в обморок лягушки (гренау эвануйе — по-французски), само платье белое, туфельки тусклого серебра, чулки шелковые цвета бедра испуганной нимфы... И вдруг подходит к нашему столу — актерскому и музыкантскому — сам государь-император Николай Павлович. Благодарит нас, а на меня так посмотрел, что я вся, вся так и зарделась. И в груди захолонуло. Тут выступает от труппы нашей наш театральный поэт Семен Иванович и читает — заранее сочиненное, понятно:

В красой цветущих парках Бабигона,
Где музы водят тихий хоровод

Под гимны сладкие российского Бейрона
Над гладью незатейливою вод, —

Там празднество обильныя Помоны
Справляется у Царского Дворца,
И Мельпомены строгие законы
Смиряют шаловливые сердца.

Но скрипок вопль гобоя песнь прервала,
И Терпсихора высылает строй
Волшебных дев на поиски Фингала, —
В пещере дикой раненый герой . . .

Государь тут засмеялся — да так хорошо,
так просто, так сердечно.

— Эх, — говорит, — пиита злосчастный, ты,
друг, видно, листки-то перепутал: сегодня ведь
на театре не «Пещера Фингала», а «Наяда и ры-
бак».

Семен Иванович побледнел весь, за сердце
схватывается, чуть не сомлел.

— Виноват, Ваше Императорское Величест-
во, — шепчет, — и верно, перепутал . . .

— Ну, садись, брат. С кем не бывает . . . —
и Семену Ивановичу в утешение в руку пря-
мо втирает золотой. И опять на меня смотрит . . .

Да, так и началось. Видно, и наряд мой тог-
дашний, нарочито старомодный, ему по сердцу
пришелся, но только через день, обнимая меня,
всё тихонько так, на ухо: — «Подснежник мой,
свежести ты необыкновенной . . .»

Как было не полюбить всем сердцем, душой
всей? Статный, пусть не молодой, но рыцарь,

прямо Ринальдо из оперы, или Фингал, а ведь что́ я, — а он — он император, самодержец . . . Хотел тогда же одарить меня. Но я даже в слезы: без подарков обожаю, мол. Ну, был он со мною, не буду врать, всего-то три раза. И — не знала я — оставлял-таки подарки: мать прятала их до времени и от меня. А я — я ни на кого не глядела после: ведь после меду не тянет на польню. Ох, как я любила его!

А как года через три скончался, ушла я навсегда со сцены, хотя еще молодая была. Но где же мне танцевать, когда солнце мое закатилось! При первой вести о том, что скончался государь, упала я без чувств. Мать засуетилась, врача позвала. А что врач! Все они, врачи, одного поля ягоды: клянутся латынью, да поят польнью. А у меня-то ведь не тело — душа больна смертельно . . .

Говорю вам: хороша еще, очевидно, была: многие предлагали мне руку и сердце. Да я-то, да для меня-то Николай Павлович всё живым был, и любила его, и боялась несусветной его ревности. Он ведь ревнив был до чрезвычайности.

Вот, к случаю пришлось, так расскажу. Близ Царского Села имение было, графини Самойловой. Славянка. Графиня красавица была, и живая, и умница, а характером — чистая цыганка, и гордая притом. И флёрт у нее в Славянке, и общество всегда такое, что и Царскому Селу такое не снилось. Ну, государь-то, Николай Павлович, и взревновал: и заставил-таки графиню продать ему Славянку, чтоб не

отвлекала она высшее-то общество от Царского Села. Озлилась графиня, но государя не слушаешься: продала ему Славянку, и в тот же день поехала на стрелку тогда еще почти пустынного Елагина острова: «Не в Славянку, мол, государь, ездило все общество, а ко мне». И верно: с тех пор все стали за графиней ездить на Елагин . . .

Видите, к обществу даже ревновал Николай-то Павлович! А если б я, да после него, после самодержца, замуж вышла! Он и во сне ли, наяву ли — не разберусь теперь — являлся мне, грозил: «Гляди у меня, Наташа!» Да и любила я его, и до сего дня люблю. Ринальдо! Рыцарь без страха и упрека!

Ну, сын его — не в него. Хамов вот освободил до времени — они ж его и убили. И теперь вот смута, и хамское царство. Советы . . . Эх, не глядела бы! Ну, да и глядеть мне недолго уже. Зажилась ведь . . .

1970

ВЕДЬМА

Не смотрите, что фамилие мое на вид не дворянское: Перхунов. Но родился я в барской семье, сыздетства ходил в бархатном пинжаке и цветном галстуке, собачку по рождению борзую на цепке водил, бывало. У меня и учительши с малолетства были — на гармонии, по-французски, на разной музыке, даже рояль. А только я всё это свысока презирал, потому мы по старой вере, — до революции, понятно.

И как я был на фронте во время первой буржуазной революции выбранный в совет солдатских депутатов, то заимел намерение, как начнется пожар мировой революции, в обязательном порядке переспать с какой интеллигентной барынькой, ныне гражданочкой — потому скус у меня всегда был тонкий и любил в этом деле всякую деликатность в ухажорском обхождении.

Приезжаю, значит, уже после великого Октября, в свою деревню, иду во всем гражданском по улице, гармонь раздуваю, песни охальные пою. А деревня наша строгая, старой веры, и батька у меня строгий был — выскочил, да меня по потылице: «Не охальничай, — говорит,

— Пётра! А то, смотри, я-то не посмотрю, что кумунист, — так накостыляю, что жизни не обрадуешься!»

Ну, выпимши я, понятно, был. Ведь с фронта, ведь власть теперь наша — трудящих всего мира, ведь мы весь, мы новый мир разрушим до основанья, туды его в мать. Вот и решил я сейчас же наведаться к интеллигентной гражданочке.

А много ли их в деревне? Ну, поповны две, помещица — да она-то уже старуха, ей под тридцать. Вот и попер я, значит, к учительше. Маленькая такая, робкая, а сама — дочь полковника, даже не-по-русскому умеет, на рояле всякие вальсы.

— Принимайте, — говорю, — Елена Пална гражданка Кравцова, депутата и воина социальной революции Петра Евстигнеича Перхунова!

— Пожалуйста, — а сама жметя, бледная, — садитесь, — говорит.

— А садитесь, гражданочка, нам некогда, — мы теперь люди деловые, фигли-мигли разводить не приходится — не тот исторический момент!

Размазывать долго нечего: прижал я ее, привалил, юбчонку там задрал — и всё прочее. А она даже не плачет. Глаза остановились, как у германской куклы, а сама так непрерывно прихохатывает и будто икает. Осерчал я:

— Ты, курва, небось с офицерьем могла, а с солдатом мировой революции гребуешь? Вот как двину по портрету! Ты благодари еще, что я по-благородному, с разговором все-ж-таки...

Ну, двинул ей, сильно саданул. А она всё прихохатывает. Смякитил: рехнулась девка. Да неуж от моего обхождения? Быть того не может! Ведь я ее спервоначалу пальцем не тронул, даже не щипал. По-благородному. Всё хохочет . . . Надо бы пристрелить ее, как уже кругом малохольную, вовсе нецелесообразный элемент, тем более, что узнал назавтра, что накануне наши отца ейного в расход вывели: чтойто трепался неподходяще. Да вот: пожалел ее тогда как-то.

И вот, поверь: досе хохоток тот слышу. А ведь что? Ну, вылюбил разок-другой ее. Делато! Отряхнись — и сыпь дальше. Потом ведь со сколькими бабцами дело имел: с раздворянками, буржуазным насквозь элементом. И всё ничего. А вот Елену-то Павловну, хохоток ее всё забыть не в состоянии.

Оно, конечно, баловство по молодому положению: ведь от бабы к бабе — штаны аж в дыму — ходил. Но и досе не женился, как заколдованный ею чем.

Конечно, как я образованный сыздетства и сознательный член партии с ленинского набора, то не верю ни в какой опиум. Но, может, была она все-ж-таки ведьмой?

1970

Вас удивляет моя наружность? Да, и у отца были такие же острые уши, тот же пристальный и угрюмый взгляд, та же поджарая фигура. И собаки вот, как завидят нас, сразу же начинали злобно ворчать и принюхиваться... Всё это у нас в роду.

Мы из старого, очень старого, вымирающего рода. Предок наш выехал из Великих Черкас, по-нынешнему Кабарды, на службу к Грозному. Сыновья его попереженились на русских боярышнях, обрусел наш род совершенно, но какая-то горская стать и сухопарость, видимо, неискоренима.

Прадед мой был уже типичнейшим русским барином сороковых годов. Немного тюфяк, немного селадон, натура поэтическая, мечтатель и лентяй, — он повседневно бывал влюблен — и всегда был под башмаком у любимой. Больше всего на свете любил он женщин, особенно тех, что в теле (сам был невеликого роста и худощав), обожал романсы под гитару и лихую езду на тройках. Женился рано, на самый разромантичнейший лад — угоном: выкрал полюбившуюся ему девицу из богатейшего помещичьего

дома. И — на этот раз — пленила его не пышно-телая русская вальяжность, а эдакая горная коза, стройная, небольшая, на месте минутки не усидит. Притом — властная до безумия, и до безумия же страстная. Ну, прямая прадеду противоположность.

Пленил ее прадед своим задушевым тенорком и всяческими тогдашними романсиками, не без цыганского налета, особенно же одним — не помню уже его слов, только припев в память врезался:

Вихрь гудит,
Снег валит,
Месяц тучами закрыт . . .

И вот — хотите верьте, хотите — нет, — но только взбрело же на ум прабабке, Мавре Федоровне, что бежать она с прадедом из-под крова родительского должна непременно зимой, непременно на тройке, — и чтобы лошади были вороные без единой просветлилки, а кучером обязательно цыган. И чтобы все, так сказать, романсные условия были соблюдены в точности: чтобы снег валил, вихрь гудел и месяц был тучами занавешен . . . Уж как ни уговаривал Маврушеньку влюбленный жених — ни в какую! — иначе, мол, от ворот поворот. И сколько было удобных случаев в ту же зиму: но то снег недостаточно сильно валил, то вихрь был не больно гудевший, то месяц светил ярко — или туч было маловато. И Мавра Федоровна, Моревна-Царевна, как звал ее жених, ну, никак не соглашалась. Полагаю, что родители от-

дали бы ее прадеду и безо всякого угону: был он и родовит, и богат, и покладист — чего еще требовать от жениха? Но тогда — где же романтика? Эдак и любая дочь, скажем, откупщика Петренкова или купца Самосвалова могла просвататься и выйти замуж.

Наконец, все три условия оказались как раз в пору. И цыгана лихого уже месяца два прадед содержал, и коней вороных как ночь для бешеной тройки приобрел. Все готово. И ночью, безлунной, глаза выколи, сам в черном чекмене и черной папахе, выкрал прадед свою Моревну-Царевну из дома родительского: через окно спустилась к нему — в черном бурнусе и черном капоре. Помчались они через лес в усадьбу жениха, чтобы там же, той же ночью, в родовой деревенской церковке, повенчал их поп без большой огласки.

Летят, как вихрь, — а тут огоньки на лесной дороге: глаза волчьи. Рванули кони, Мавра-то Федоровна и вывалилась прямехонько в сугроб. А коней никак не остановить — всё мчат и мчат. Да и кучер-цыган — может и ждал того, чтобы и барина при случае вывалить, а самому с тройкой закатиться подальше: больно вороные соблазнительные! Да только барин-то пистолеты вынул — и крепко за сани держался. Завернули, наконец, назад: хоть, мол, косточки Моревны отыскать бы . . .

А Мавруша, как вывалили ее, — душа у нее в пятки ушла, но больно гордая была, прикусила губы до крови, не молится даже, а только

всё думку думает накрепко: — нет, не поддамся!

Видит: бежит прямо на нее волчица, а неподалеку от нее восемь волков: вроде собачьей свадьбы. Остановилась волчица, нюхнула Мавру Федоровну, вокруг нее как по циркулю помочилась — и помчалась дальше. И вот — поверить трудно! — все восемь волков, голоднющих, худющих, как по команде, — все по тому же кругу прошлись и тоже помочились — и за волчицей вслед подались. Тут уже силы оставили Мавру. Забылась. Но как вернулся жених с цыганом, — очнулась, виду не подала, что в обмороке была. Только презрительно так прадеду:

— Эх ты, герой полотняный. Тебе бы только романсы распевать . . .

Сынок у них один всего и родился — вот с такими же острыми ушами, как у меня. Помню я его — деда моего. На охоту не ходил — своих же собак опасался, и они рычали на него. В глаза никому не глядел — всё вниз да вбок. И тоже певал под гитару — старческим уже теноришком, дребезжащим, но сладеньким:

Вихрь гудит,
Снег валит,
Месяц тучами закрыт . . .

1970

БЫВАЛО

Вы-то начали сразу, как дирижер. Вы кончили там консерваторию, палочку вам дирижерскую сам Римский-Корсаков подарил... Хорошо вам: барчуком родились, барчуком воспитались, барином и живете...

А вот попробовали бы, как я. Папаша? Ну, папаша был беднейшим из бедных свадебных музыкантов в бывшей черте оседлости. Слышали об этом? Сам-то, понятно, оседлости не имел. Понимать надо: много ли свадеб, еще, скажем, каких семейных праздников в небольшом местечке, сплошь натолканном бедными евреями?! Богачей — раз-два — и обчелся. Вот и бродили из местечка в местечко втроем: он — скрипка, брат его — хромой и хилый — флейта, а старый Гирш, из бывших николаевских солдат, — контрабас. Как себя помню — всё в той или иной корчме, на окраине местечка, — мать на лавке под окном чинит отцовские и дядины хоботья, штопает чулки, в перерывах сует грудь очередному моему братцу или сестренке: чем-чем, а ребятишками Бог нас, бедняков-евреев, не обделил... Не было мне еще и пяти, как стал помогать отцу: дали мне неболь-

шой, детский почти, турецкий барабан и бубен. В бубен-то не только бил, но и собирал в него с гостей, скажем просто, подаяния на весь наш, так сказать, ансамбль. Ох, и бивал меня отец, как стал обучать игре на скрипке! Ну, спасибо, выучил.

В пятнадцать лет уже стал я самостоятельным музыкантом: и скрипачом что надо, и человеком самостоятельным. И до смерти опостылело мне шататься из местечка в местечко, из корчмы в корчму. Да и какая вторая скрипка в еврейском свадебном ансамбле?! А тут еще, как на зло, помер наш хрипун-контрабас, старик Гирш. Кажется, опился, промерз по осени в своей некудышной одежонке, к зиме и отдал Богу душу. «Становься, Шмуль, за контрабас, — хмурит брови папаша, — без басá какой же может играть, скажем, маюфес?» Ну, скажите, какая же это скрипка захочет стать контрабасом?! А меня-то уже слышал приезжий концертный скрипач, профессор Петербургской консерватории, — так он сказал, что я уже законченный музыкант, только надо обогатить репертуар. А так — все на месте.

Что же? Я и решил осесть на месте. Но где же, спрашивается, концертная эстрада или, там, хотя бы небольшой оркестр симфонический в городках, как Балта? И мне пришлось что: ну, организовал я квартет в местном борделе. Мне — пятнадцать, а я — первая скрипка и — как это называется, скажем, в Германии — музыкальный директор ансамбля. Вторая скрипка — мой товарищ, Беня. Потом, как совсем обветшал

и не смог больше бродяжить, — стал второй скрипкой мой собственный отец. Вот альт и виолончель — те из классных музыкантов, консерваторцев даже когда-то, но пропойц.

Вы скажете, что евреев-пьяниц не бывает? Плохо же вы знаете жизнь! Горе-голода не может не пить. А уж какую нищету вы бы встретили в Быхове, Сороке, Бендерах, Балте! И уж если еврей пьет, то пьет на полную совесть. Играли зато мои пьянчуги с душой, хотя часто руки у них дрожали, как в ознобе.

И играли мы в борделе не только там вальсики и польки, а и Чайковского и Шуберта, и Шопена, и . . . Да многих играли, больше, понятно, романтиков: и девушки, и гости любили, конечно, сентимент и слезу. Тоже ведь — и жизнь такую прожить не так-то легко и сладко. А экономка в нашем борделе, из состарившихся девиц, тетя Маня, бывало, подопрет огромной красной ручищей расходившиеся в рыданиях обширные, как океан, груди — и таким осипшим почти басом: «Мальчики, сыграните мне 'Виють витры'» . . .

Ну, что там тянуть кота за хвост! В девятнадцать был я уже дирижером в бродячей мало-российской (тогда обычно не говорили еще — украинской) труппе. Оркестр всегда набирался из местных евреев, с нами не странствовал. Только дирижер — он же первая (и единственная) скрипка — постоянный член труппы. Это — я. А оркестр, бывало, доходил и до четырех (ниже не спускался) человек: я, кларнет, гармонь и разбитое фортепиано. А нет рояля — и

бандура хорошо. Но я не успокаивался, шел все вперед и вперед: выручала природная музыкальность, верблюжья выносливость и неприхотливость, ну, и молодость, понятно. Года через два — я уже второй дирижер странствующей оперной труппы. Ох, уж и оркестр был у нас! Двенадцать человек, а в Житомире давали даже «Тангейзера»: губернатор пожелал. Ну, дополнили несколькими духовиками из местного оркестра пожарников. А вот гобоя — нет как нет, скажем. Заменял я его кларнетом — сам переделывал партитуру на малый состав, сам переписывал гобой — на кларнет, третью и четвертую валторну — на один баритон. Сходило! И ведь с одной-двух репетиций все оперы шли. Так сказать — на темпераменте исполнителей и терпении публики... Как говорится: нужда плачет, нужда скачет, нужда песенки поет... А уж обстановочка была в наших операх! Сами читали, небось, о провинциальных театрах старого времени. Бывало, только и есть четыре набора декораций и бутафории: улица в каком-то неопределенном городе, лесная поляна с морем на заднике, да два павильона-интерьера: *вампир* и *ракака*. Ставим «Фауста», — а декоратор, он же бутафор чешет затылок: «Фауст? — и к единственному театральному плотнику: — Сенька, тащи *вампир*»...

Вот тут-то, на одном спектакле, пел у нас гастролер — сам Оскар Камионский. Когда совсем садились на мель, на хлеб и на воду, когда совсем дела были швах, — приглашали мы на выручку гастролеров. Конечно, при гастроле-

рах дирижировал не я, а главный дирижер, маэстро Кац. Но, к моей радости, в тот вечер он был пьян в доску, добудиться его никак не могли. И мне удалось продирижировать «Кармен» с Камионским.

— Эх, малыш, — говорит мне после спектакля Оскар Исаевич, — тебе бы не в этой говенной труппе, — тебе бы в хороший театр: и способности, и темперамент у тебя...

И помог. Стал я и в столицах даже дирижировать. А ведь начал-то с квартета в лупанаре!

Да... Много повидал, много испытал. И хотя к первой мировой (теперь говорят — империалистической) войне уже и зарабатывал неплохо, и в спектаклях с самим Федором Ивановичем Шаляпиным дирижировал, но, сами понимаете, революцию встретил восторженно: многого не мог простить прежней жизни... Ну, в партию, понятно, не пошел: какой к черту из музыканта большевик, коли этот музыкант не полная бездарность! Не верите? Улыбаетесь? Мол, как же Давид Ойстрах, Эмиль Гилельс, другие? Да ведь они-то в партию пошли когда: в войну, даже многие сразу после войны: и какие же они партийцы?! Сами можете понять: чистая смена декораций, баркаролла из «Сказок Гофмана»... Но, конечно, был я первое время совсем, совсем беспартийным большевиком, как позднее таких называли: помнил ведь и бордель, где часто девушки плакали в мою жилетку и всё-всё мне рассказывали, и черту оседлости, и то, как уже небезызвестным дирижером неделями обивал пороги и хлопотал о правожи-

тельстве; и голоту своего беспросветного детства помнил, — э, да всего не пересказать!

И вот однажды, году, кажется, в 23-м, подходит ко мне в антракте, за кулисами, артист миманса. Платили им тогда гроши: как и было прожить на это — никак не представляю. Ну, поступали в миманс всё больше из бывших людей. Они к тому же, скажем, в «Гугенотах» или в «Риголетто», на балу в «Пиковой даме» подходили — в толпе дворян, гостей там, — больше обычных статистов: облик и походка барские, манеры тоже. Подходит этот Василий Сергеевич — и просит тихо так — отойти с ним куда подальше. Пришли мы с ним в мою комнату за кулисами. «Самуил Львович, — говорит, — брат вот ко мне приехал...» — «Ну, и что?» — спрашиваю. — «Знаю, — говорит, — вас за доброго, благородного человека... Он — эмигрант: тайком через границу перебрался, документы, впрочем, достал неплохие... Не для политики, клянусь вам, а просто жена и дочка его здесь остались, когда он с Врангелем бежал. Дочь его, Аллочка, в нашем кордебалете танцует — знаете ее?.. А сам — все бледнеет и даже в лице совсем переменялся: боится, значит: а вдруг — я выдам его... «Ну и что? — спрашиваю его опять. — Небось, он — белый полковник?» А он, Василий Сергеевич: «Нет», — говорит. И вижу — врет без всякого сомнения. «На одну бы ночь вы его приютили... переночевать только... у него документы, ну скажем, в порядке. А он только из-за жены и дочери и воротился... Вы же, — умоляющим таким го-

лосом, а глаза — как у побитой собаки, ну, право, — вы же Заслуженный артист республики, — вас никто ни в чем не заподозрит...» Ну, тут уж я страшно как озлился — и так его отчитал, так отчитал. «Вы, — говорю, раньше как жили?! Думали ли вы тогда о нас, тогда маленьких людях, о низших, о тех, что страдают?! А теперь я должен рисковать не только своей шкурой, а и жизнью жены, сына»... Ничего не сказал на это Василий Сергеевич — только сразу как-то обмяк, и от прежней его статуры, ну, как есть ничего не осталось, Ссутулился — и поплелся назад. Шепнул только: «... простите... не погубите...» Не стало больше у меня выдержки. Шагнул к нему, схватил его за плечо. «Черт с вами всеми, — шепчу ему, — пусть ваш брат приходит. Только уж пусть затемно, попозже»...

Ну, что мне было в тот вечер от Софьи Михайловны! Жена поедом меня ела, да и гостю нежеланному у нас не сладко было... Что уж и говорить. Порядком мы его с женой, бедолагу, поизмучили, поругали... Слава Богу, обошлось... Да, кажется, и для него тоже.

И вот я и думаю: с чего это я, старый дурак, тогда не отказал наотрез? Ведь если бы кто стукнул — крышка бы и мне, и моим тоже. Вот — не отказал...

Ну, разболтался. Простите старика. Мы все, как уж больше, чем одной ногой, в могиле, страшно болтливыми становимся. До свиданья, дружок. Не забывайте старика...

1970

ГОРОДА, ГОРОДА . . .

*Светлой памяти
Надежды Сергеевны Благовещенской
посвящается*

Привет Тебе, тысячу раз привет!
Ave Maris Stella!
Сквозь белые ветви брызжет рассвет,
земли алеет тело . . .

По белым, холодным, чистым снегам
радость бежит — румянец . . .
Уйди к щетиной заросшим лесам,
бросив винтовку и ранец.

Прижмись к белоснежной чистой Земле,
молитвой омой тело,
и дух твой воскликнет в звездном кремле:
Ave Maris Stella!

1942

ГОСПОДИН ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

1. Садко

Когда отягчится Новгород Великий грехами, разогнется тогда благословляющая горстно Длань Вседержителя в куполе Св. Софии, и разрушится град, и мутные волны Ильменя покроют его.

Легенда Св. Софии Новгородской

Серебряная рыба чешуя
блестит на солнце сонною кольчугой,
и невод тяжкий с мускульной натугой
выплескивает Ильменя струя.
И рыбок былевых червонный клад
горит в душе Садка напевной силой,
а гусель звончатых затейный лад
дробится в песне вольной и унылой.
И радостью печальною полна,
седого Ильменя гремит волна,
и сушит Волхова золотые косы,
и церкви стройные бегут в покосы.

Волхвы-всеведы славят Новоград,
ладьи несут в незнаемые страны,
в Индейский сон, в Варяжские туманы
и в Веденец — морской цветущий сад.

Садку не дорог зреющий покой:
яровчатые струны стонут бурей,
и расплясался грозный царь Морской,
и топит корабли в бесовской дури.
В Софии разогнулась Спаса горсть,
и ада желтая прогнулась кость,
и в алых стогнах песенного сада
развалины ютятся Новограда.

1941

2.

Приложиться к холодному полу собора,
к снежной русской Софии Кремля:

— Отклони, Мать и Дева, топор приговора —
— Не готов я к ответу, Земля!

— Пусть не суд, не возмездье, не правда, а
жалость

— озаряет Предвечный Престол:

— на душе непосильной свободы усталость, —
— я — сожженный свободой ствол.

— Трудно вынести бремя свободы:

— мы не Слова сыны, а природы . . .

И в бесстенной, бескрайной пустыне собора
я молюсь среди пожарниц Кремля:

— Отклони, если можешь, топор приговора —
— не готов я к ответу, Земля . . .

1942

3. Антониев монастырь

... Менялись судьбы мира: давно сгиб Ветхий Рим, хирел Рим Второй — Византия. Перст Божий уже указывал на Третий Рим — Русь православную. В ночь на 5 сентября 1106 года буря оторвала от берега Южной Италии камень, на котором уже год и два месяца стоял в непрерывной молитве св. Антоний Римлянин. На том камне приплыл святой к берегам Волхова, у Господина Великого Новгорода. Здесь основал он монастырь...

Осеннее солнце златит обнаженные дали.
Три грузные купола воздух хрустальный повил.
На щебень разбиты истории ветхой скрижали,
и чернь суетливо хлопочет у новых стропил.

На камне истертом назад уплывает Антоний,
с тоской покидая несбывшийся въявь Третий
Рим,
и в злате рассвета проносятся сизые кони:
с Угодником русское небо простилось своим.

Прощай же, Антоний! Мы много и глухо
грешили,
и смерть пожинает у нас неизбежную дань,

и тщетно Ночной Посетитель нас будит в
могиле:
скудна наша вера и Каином проклята длань . . .

Стропила качает гармошка веселого пойла —
всестадного равенства перед ножом
мясника, —
и к небу возносится новое мощное стойло . . .
Но камень святого со вздохом уносит река . . .

1942

4. Феофан Грек

Фрески в храме Спас-Преображения

Мученики веры, столпники, пророки,
царь-певец Давыд и шестикрылов хор!
К вам вломилось солнце — ржавые пороки
кровью проступили из кирпичных пор.

О, не хмурьте лики, грозные пророки!
Брови распрями, коричневый Илья! —
Грех необорим — и в вихревом потоке
в пляс пустилось солнце, в жилы огонь лия.

Узок столп могучий. Веющих воскрылий
страсти — не осилит серебро брады.
На старинной фреске слой недавней пыли
лишь слегка смягчает резкий след беды.

Многозвучны души. Темными тонами
выпирает дух наш златобелый тон,
и играет солнце в синеве над нами,
бегуны * с крестами внемлют перезвон.

1941

* «Бегуны» — архитектурный каменный орнамент на стенах церквей: крест на двух как бы согнутых в коленях под прямым углом ногах, вывернутых ступнями в разные стороны и согнутых на разной высоте.

5. Фреска 1702 г. «Страшный Суд»

Артель костромских богомазов Бахматова изобразила в центре огромной фрески Страшного Суда на западной стене Собора Знамения — Петра Великого и Меншикова, увлекаемых чертями в геенну огненную.

Петр. Бутылочный зеленый мундир,
высокие со шпорами ботфорты.
Расколотый беснуется мир,
мчатся душ осужденных когорты.
Чёрт ликует. Разверста ада пасть.
Император утратил над жизнью власть.
А за ним басурманская гнусь:
все щепотники, табашники, немцы,
алчные бесштанники-иноземцы —
попирается ими Святая Русь.
Господи-Исусе, изжени!
Душу-живу ада борони!
Упирается немкою приспанный властитель:
в пасть адову не хочет впасть:
не изжита им греховной жизни сласть.
И от смеха корчится искуситель.
Петр, пустую надежду кинь:
не прорубил ты окна в Европу.
И слышится напрасный шепот:
— Спаси, Господи, меня и мой народ . . .
Узки Врата Небесные. Широк ада вход.
Аминь.

6. Крещение в древнем Новгороде

Средь алых зипунов проворные молодки,
блестит узор морозной чешуи,
и в полущубках драных холуи
бочонки катят мерзнущей селедки.
У белой церкви в кадках желтый мед
и горы златоблещущего воска,
а вот с мехами куньими повозка,
веселый пестрых сукон хоровод.
На Волхове застывшем Иордань,
мороз попам прохватывает глотки,
смеются краснощекие молодки,
поблескивают фляги пенной водки,
и тóлпы пьяных — в эдакую рань!
Звенит Иван Предтеча серебром,
меняя талеры на новгородки,
у всех церквей живой торговли сходки,
и скоморохи кажут свой сорóм:
— Эй, жги! Сегодня праздник у Ивана:
— Гляди-ко-ся, владыка в храм идет . . .
— Не посрамим гудошничьего сана:
— Эй, вывороти полные карманы:
— С водой из проруби попер народ.
Иван гремит крещальным песнопеньем,
и колокол восторженно звенит,
и серебро чешуйками горит,
ганзейских немцев скучен строгий вид
в морозный праздник русского Крещенья.

1943

7. *Вяжицкий монастырь близ Новгорода*

Мощи св. Евфимия, архиепископа Новгородского

Через грязь тащились колымаги
воевод московских и бояр.

Расцвелились муравой овраги,
солнце по весне пьянее браги,
лес узорней золотых татар.

Лáданны ладони у Евфима,
звон малиновый колоколов,
мед разымчивей близ черной схимы,
шуба царская дориносима,
гулка поступь государских слов.

Стройный белый лебедь монастырский,
изумруд веселых изразцов . . .
Новгород горластый, богатырский
бросил белый камень алатырский
на могилы вольности борцов.

Победительна Москва. Под спудом мощи.
Но Евфимий — он не москвит! —
Властен и суров. Москва — она попроче . . .
Но московский звон несется в рощи,
пташий лик ликует и звенит.

1942

8.

Сиганули звезды с неба
и просыпался снежок,
поздно начиналась треба,
упокойно ныл рожок.

Купола́ Бориса-Глеба,
свечка в выбитом окне.
Нету мира, нету хлеба,
мир и город сгиб в огне.

И река руки изгибом
крестит свой намерзший рот
и аминит спящим рыбам
святок северных приход.

1952

9. Федор Стратилат на Ручье

В бойницах солнечная синь,
и льется воздух в окна-щели . . .
Лазоревый свой плащ накинъ,
полки архистратигов ринь
на бой за призрачные цели!

Неосязаемый оплот
и духа верного твердыня, —
падет вещественность-гордыня,
и благовестье принесет
архангел в распятый народ
и камни воспоют святыню.

Мария, радуйся! — опять
процветшее воскреснет Тело,
сойдет на Волхов благодать,
и Мать не будет проклинать
бойцов за вечевое дело.

Вновь порождает синева
когорты светлых стратилатов;
и блещут огненные латы,
неся архангела слова:

— Мария, радуйся! Господь . . .
— Тебя в женах избрал навеки . . . —
В единый гимн сольются реки,
в орган морей вливая воду . . .

И на причудливых ладьях
на Волхов устремятся души . . .
Своей я клятвы не нарушу
в неровно стесанных камнях . . .

1943

10.

Город сонный на реке могучей,
белый, с золотыми куполами, —
ох, как много силы и величья,
ох, как много памяти и песен!

Вольной волей, кулаками машешь,
звоном колокольным льешься в небо,
на разгулье бьешься непорядком
и князей не рядом вышибаешь.

И святых, и грешных, скоморохов,
и купцов, и баб простоволосых
много ты над Волховом расставил —
как иконный ряд Руси исконной.

И зачем за дальними морями
не могу забыть шелом Софии,
не могу избыть повольных песен,
ель седую у стены детинца?

Много есть на свете ладных песен,
ласковых подруг и слов приветных, —
только нет родней трезвона Юрья,
выше нет, чем небо над Софией!

1962

ГРАД СВЯТЫЯ ТРОИЦЫ

1. Псков в марте 1943

В весенних лужах хлюпающий март
и древний город, родиной чреватый,
беззубый кремль, холм склизкий и покатый
в руках судьбы колода ржавых карт.

Взмывают волны царственный собор,
Довмонтов меч гремит о плиты храма,
контрфорсов сокрушительен отпор
редеющим полкам седого Хама.

В лохмотьях толп Великая-река,
буреет лед, и серых туч рука
кидает солнце в разношерстный рынок,
стуча в набат глухих молочных крынок.

Опять везде варяжских воев рать,
и солнца диск раскалывает стены.
Угрюмый взор таит мятеж, измены
и давнюю привычку помирать.

Собор стоит средь мреющей толпы,
задумался конклав пяти трибунов,
канон твердят могучие столпы
о скифских торжищах, набегах гуннов.

И в каменный узор волнистых стен,
рыдая, бьется неизбывный плен,
и тянутся вспотевшие илоты
на пытку бессмысленной работы.

1943

2. Церковь Василия на Горке

Ускакали огненные кони
в снежный угол павшего Кремля,
и на рдеющем холме-амвоне
убивается сгоревшая Земля.

В церковь хмуро шествует Василий,
в ризе драной, с лестовкой в руке,
а в замерзшей истовой реке
боль напрасных родовых усилий.

Плат по брови, темный скорбный лик —
убивается Земля родная, —
и отсветом дедовского рая
церкви песнотворческий родник.

А Василий морщит тонкий лоб
и стучит клюкою по булыге,
а веснущатый поджарый поп
подает краюху забулдыге.

1943

3. Никола Каменнооградский

Городок, нахохленный войной.
На краю забытый монастырь:
Николай покинул край родной,
и кругом загаженный пустырь.

Перед храмом мерзнет огород,
церковь кроет обомшелый гонт,
неба псковского навис дырявый зонт,
слякотью пронизан тяжкий год.

Весь алтарь, как горсть голосников,
птицы угнездились в алтаре,
и бредет толпа Учеников,
распевая псалмы о Царе.

За окном, как деревенский бес,
сыплет звонкой руганью коза,
и пытливые ее глаза
отражают партизанский лес.

Николай, вернись в родимый край!
Освяти наш русский древний рай!
Но в ответ лишь дребезжит коза,
по окну ползет дождя слеза.

1943

4. *Пароменье*

Ухожу в серебряные дали,
в зеркало спокойное реки.
Невод шелковый сплетают пауки,
льются звуки зреющей печали.

Обнимаю города колени,
припадаю к солнечным лучам.
Строгой ласкою встречает храм,
освященный стоном песнопений.

Путедарная! Ты — Кормчий Корабля,
вынеси меня в затишье встречи,
дай услышать примиренья речи,
Одигитрия — Сыра Земля!

1943

РОССИЯ...

1.

Златозвезды прыщут с сини куполов,
золотые буквы вывесок летят,
злато кренделей под звон колоколов,
дребезжат трамваи перезвону в лад,

синие извозчиков ватные зады,
торопливый гомон, прыски воробьев, —
вот она, Москва, Москва на все лады,
золотая, синяя, назад полста годов.

Эх, мальчишеский вербный тесный рай —
зазывалы-пряники, шарманка, карусель,
на качелях с милою — ну, еще поддай! —
вяземские, тульские, дешевка-карамель.

Приголубь голубу в голубой обряде,
голуби на площади, Спасские врата, —
и идет веселый, в праздничном разряде,
и душа гармоникой миру отперта.

Что же, пестрота — так будь же попестрее,
что же, быстрота — так будь же побыстрее, —
Господи, ведь молодость — вот она идет:
крестный ход с Успенского, грешный хоровод...

1962

2.

Тяжелая вода воспоминаний
о городе с чугунными мостами,
о городе с дворцами и церквами,
где угнездились мыши и товары.
Суровой аркой скованные мысли,
в гранит одеты пристани седые,
и перекрыты праздничным оркестром
победно-кумачёвые знамена.
Я выходил с толпой к трибунам щуплым,
я проходил по улицам зеркальным,
тобой дышал, отбрасывая плесень
мгновенных встреч, назойливых воззрений.
Невы свинцовой всеобщное бденье
подхватывали взлеты белой ночи, —
и прошлое сливалось с грядущим,
для жизни ничего не оставляя.

1946

ОТ МИРА БЕГСТВУЮЩИЕ И МИР

Напрасно все: нет, не поймут тебя!
Унылая влачится бесконечность,
Обманет лаской русская беспечность,
И ты умрешь, лишь дальнейе любя . . .
Плывет свеча по озеру тоски
К иконостасу призрачного храма.
Свежо. Заката яркие мазки —
Лиловых туч позолотилась рама.
Быть завтра ветру. Пусть развеет он
Тоску пустот, безлюдного пространства,
Умильного лампадного жеманства —
И обнажит стальной каркас — закон . . .
Но ты не облетишь, звон Светлояра! —
Плыви, свеча, к Успенью на поклон
И изведи из ржавого угара! . .

1942

П А О З Е Р

Ты, друг, не погляди, что я монах. Я, брат, родом из паозеров — потомственный рыбак из Самокражи. Я такого шпингалета, как ты, как веревочку в узелок свяжу — и не поперхнусь при этом. Намедни один зондерфюрь немецкий что-й-то по-своему лопотал — да с хохотком — около церкви в Сыркове, так я на него, понимаешь, так посмотрел, что он, недоварок, ско-соурился весь — и ходу. Даром, что при пистолете. Так и ты, друг, над нашими новгородскими святыми не надсмехайся. А то ведь как было: сам царь московский, Иван Третий, пришел в Хутынский монастырь, хотел надсмеяться над нашим Варлаамом — мол-де, смерд он перед нашими святыми московскими, — да и стукнул посохом своим государским по могиле святого. А посох-то весь огнем вспыхнул, обуглился. Бросил его царь — и дёру из Новагорода. Велик, мол, Господин Великий Новгород и святые его! Думаешь, немцы тут долго устоят? Испанцы? Дудки! Новгородские, брат, святые покрепче других — мужики все рослые, здоровые — они даже самого нечистого — прости, Господи, и помилуй, — не к ночи бы сказывать! — заставили себе служить.

Слыхивал ли ты про нашего великого святого — архиепископа Новгородского Иоанна? Уж как его нечистый хотел побороть — и ничегошеньки у него, врага, не выходило. Бывало, примет враг обличье пригожей молодки — и как бы тишком-молчком, украдкой и бочком, чтобы кто не заметил, мол (а на самом-то деле именно чтобы приметил), прикрыв лицо платочком, перед рассветом выбегает прямехонько из владычных покоев... Ну, на первый раз новгородцы, хотя и увидали, да усмехнулись только: решили: «Пусть побалуется владыка. Разок-другой, — ну, кто у Бога не грешен, — а святой владыка еще в силе, не перестарился еще». Но как стало оно чуть ли не каждодневно повторяться, — видят все — страм. Не дело владыке так за юбками гоняться. Вывели владыку под руки из палат, усадили на плот — плыви, — говорят, — владыка из Новагорода — бабник нам без надобности. А тут — чудо: Волхов назад потек, в обратном, значит, направлении — и владыка святой в Новгород на плоте возвращается. Видят новгородцы чудо — и на колени все: прости, владыка. А нечистик — все в том же обличьи молодки так в толпе и шныряет, так и агитирует всех против архиепископа. Вывели владыку с почетом с плота, а он, владыка, к нечистому — и юбку у него задирает. И видят всем многолюдством, что под юбкой — козлиные копыта. Бросился тут враг лукавый бежать, но накостыляли ж ему новгородцы по шее, чуть все кости не переломали. А какой-то здоровяк, покрепче меня, должно, был, кузнец

по специальности, пол хвоста нечистому клещами оборвал . . .

Пуще озлился лукавый. Ну, думает, так или иначе, а досажу святому владыке. Засиделся как-то владыка на совете — и с устатку забыл перекрестить бачок с водою, что на ночь ему ставили. Вот нечистик и решил залезть в воду — чтобы, как выпьет святой, прямо ему вовнутрь нырнуть. Сидит вражина в бачке — и радуется. А владыка, как захотел испить, всеж-таки допреж трижды перекрестил воду. Слышит — рыд и всхлип из бачка. И видит: нечистик в нем весь съежился, изморщился, дрожит, как в лихорадке.

— Опять ты, — хмурится владыка.

— Выпусти, преосвященный, — хнычет враг, — вовек к тебе не возвернусь.

— Нет, — говорит владыка, — за всё своя плата полагается. Вези меня сейчас же к Святым местам, в Ерусалим, да чтоб к утру назад. Слышишь?

Нечистому это хуже горькой редьки, да делать-то нечего. Упросил только, чтобы в святых местах святой каждый раз его за дверьми оставлял.

Вот и помчались! Быстрее самолета! И каких только стран не промчали, и каких только народов не повстречали! К примеру, были тогда и такие басурманы, что нос у них больше вдвое головы, и как идет дождь, выворачивают они то одну, то другую свою ноздрю, нахлобучивают ее на голову и плечи — и как дождевиком прорезиненным от дождя прикрываются. А за

турками жили тогда еще такие, у которых уши побольше слоновьих и один глаз только, там, где у православных пуп. Вот и ходят потому всегда голопузыми, а на войне бьют друг дружку ушами. Да это что! К северу от Ерусалима жили люди чудок поменьше нас, а все тело у них в огромных стеклянных бутылках с чистой водкой, только головы, лапы на подобье гусиных да, простите, срамные места наружу выпростаны. Говорят же — ни словечка ни по-русскому, ни по-немецкому — только по-французскому, как испанцы, что сейчас стоят в Пазозерьи. А муравьи там — что твои матерые бараны величиной, и презлющие. Коли озверееет на тебя — убежать от такого муравеля можно только на быстрейшей верблюдице-матери. Иначе — крышка. Над морем там летали птицы с доброго телка величиною, с женскою головою и грудями, а когти у них нержавеющей стали, голоса же нежные, что у твоей райской птахи, и под каждым крылом по пистолету. Рассказывают, что наши казачки, донцы-молодцы, одну такую птицу при покойном государе запоймали, да пока везли ее показать ко двору, она отдала концы — и страшно рыбой воняла. За что купил, — за то и продаю. Сам не видал, но слышал от людей самостоятельных. Много еще чего повидал владыка Иоанн по пути, много повидал и в Ерусалиме. Ко всем святым местам преклонился, свечку несгораемую и неугасимую с Ерусалима привез, — и к утру был обратно в Новгороде. А нечистика, чтобы народ на Волхове-реке и Ильмень-озере не смущал

больше, еще закрестил, прежде чем выпустил.

Вот они — какие мы, новгородцы! Нам и нечистая сила не страшна!

Вот, к примеру, я. Как закрыли коммунисты наш Сквородский монастырь, — я, брат, не растерялся. Ну, облачился сразу же рыбаком, крест под платье, документы знакомые паозеры смастачили, — да и подался старшим в рыболовецкой артели подале от родной Самокражи — аж к самой Старой Русе. А как силушкой Господь меня не обидел, то, Бога гневить грех, — прожил как-то. Подвернул раз нечистик мне знакомого комсомольца с Самокражи, что еще монахом меня знавал. Да только я его так спужал, что он и донести побоялся на меня. И досе — как увидит меня, со страху заикается. Бог, значит, спас.

А ты, друг, думаешь, — раз монах, так не будет от меня врагам укорота? Как бы не так! У нас, браток, все святые новгородские подковы шутя гнули: и святой Варлаам Хутынский, и мой святой Моисей Сквородский, и святые архиепископы Иоанн, Никита и Евфимий. Мы, дружище, новгородцы!

1971

СКАЗАНИЕ О ПАВЛЕ ПРАВЕДНОЙ

Русская вариация на византийскую тему

Говоришь, перевелись чудеса на земле? Ну, это как сказать... А вот — рассказывал это один старик-монах — самовидец чуда. Молчальник был великий, а уж коли заговорит — каждое слово как алмаз светится.

Жил в одном городе богатый купец Иван — из единоверцев. Веровал не по-нашему, а всем сердцем, всюю душой. И всё мучила его мысль: не так, мол, все мы живем, не по-божески. Ведь как сказал Господь: ежели хочешь спастись, — так раздай все именье свое — и иди за Мною. Мы же — что мы-то раздаем? Ну, двугривенный, ну, рублишко положим в церковную кружку, нищему пятак сунем — и успокаиваемся: праведные, дескать. И как померла у купца жена его любимая, решил он поступить вполне по-Божьему, по Христову завету: раздать все имение свое церкви да беднякам, а самому — в монастырь, душа спасать. А была у него дочь красавица, Павла. Не в телесах, как обычно по-купечеству, а стройная, худощавая, как отрок. Позвал купец Павлу:

— Вот что, дочка. Выделяю тебе треть капитала — тебе за глаза хватит на всю жизнь. Да и пригожа ты, и разумница — мужа хорошего легко сыщешь, проживешь с ним без нужды и заботы. Свои же две трети я рóздал уже церкви, нищим да убогим, сам же в монастырь иду: пора и о душе своей подумать.

Заплакала Павла:

— Папаня, — говорит, — а о моей-то душе помыслил ли ты? Я ведь тоже Божье творение, и мне о душе нужно позаботиться. И с тобою расставаться невмочь мне. Раздам и я свою часть имения, состригу косы русые, обряжусь в платье молодецкое, — да с тобою в твой же монастырь — как сын твой, Павел. И давай подадимся в монастырь дальний, где нас с тобой не знают — не ведают.

Так и сделали. И долго труждались в том монастыре Иван с Павлой, в послушничестве — Павлом, в постриге — Федором. Двадцать три года исполнилось Павле-Федору, как помер отец ее. А Федора — как была она, Павла, грамотная и смышленная, — всё посылали в ближний город по монастырским делам: продукцию монастырскую сбывать, закупки всякие для монастыря производить. В городе же том не было монастырского подворья, и приходилось останавливаться монахам в тихой гостинице, «Москва» названием. Всего-то и номеров в ней было восемь, и обслуживал их сам хозяин — Петр Сысоич Брюшков, с дочкой пригожей да хромым братом, за конторкой сидевшим, книги рас-

четные ведшим и ключи постояльцам выдававшим.

И случился раз грех. В самом конце шестнадцатого года. Стоял в лучшем номере гостиницы прапорщик Сидор Остапович Иванченко, с фронта на побывку прибывший по случаю мелкого ранения. Зашла к нему в номер Алена — спросить, нет ли какой постояльцу надобности. А прапорщик как увидал, какая красавица у него в номере, дверь мигом на ключ, рукой Алене рот зажал, подмял под себя, да изнасильничал. На беду на ту пору в гостинице и Федор с другим еще монахом стоял. Как обнаружилось, что девка спорчена, как нельзя ей стало уже грех скрывать, — так и свернули они с отцом всё на Федора: мол, монах-то монах, да больно молод, кровь в нем не выигралась, не стерпел, — вот и согрешил. Ему-то, мол, смешки, а нам слезы.

Пришел с этим отец Алены, Петр Сысоич, к игумену: так, мол, и так. Конечно, грех да беда на кого не бывает. Но как слишком млад еще Федор, и красив, как черкес какой, только не на коне, то гнать его, змея-соблазнителя, с монастыря, — иначе греха не оберешься... Ну, игумен решил было вовсе изгнать Федора, да пожалел: куда ж ему, бедняге, деваться? Тут уже революция сделалась, первая, буржуазно-февральская называется. У парня же — ни кола, ни двора, специальности тоже никакой. Наложил игумен на Федора строгую епитемью, поставил его на самые грязные работы — и всё пока. А Федор, из смирения, даже от поклопа не

отрекается, только твердит одно: «Грешен, отец благий, грехми отягчен . . .»

Много хуже стало, как родила Алена. Как-то так вышло, что не могли ей плод вытравить. Озверел тут Брюшков, отец ее, — и прямо с младенцем в монастырь: принимайте своего пащенка, а нам этот грех ваш без надобности.

Выгнал тут игумен Федора прямо на улицу и младеня ему в руки сунул.

— Любишь, — шипит, — грешить, — принимай и последствия. Теперь и без тебя худо: безбожники вовсе голову задрали, о монастырях Бог знает, что говорят. Прости Господи, коль согрешил, то хоть скрыл бы грех свой, а то — только безбожникам на утеху . . . Вон с монастыря!

И тут ничего не сказала Павла, облобызала только руку гонителя, взяла дитя на руки — и пошла. И стала жить как птица небесная: Христовым именем просила не себе, а дитяти неповинному. А как прижимала его к груди своей, тут всё более и более возгоралось в ней неиспытанное, заветное, бабье, материнское. Боролась с этим Павла: это, мол, мир меня искушает, влечет мирское. Да любовь-то к младенцу (Аверьяном окрестила его у батюшки одного, тоже бродячего, безместного) осилила все розмыслы, все сомнения монашьи. И как была она для всех бывшим братом Федором, а не девицей согрешившей, то и жалели ее, особенно женщины: они ведь своей сестре, бабе, не простят никогда, а мужчине, да еще красавцу, сам Бог велел блудить. Красив же был Федор, чёртушка, с та-

ким невольно согрешишь. Да и добр, сердечен: отцовские чувства какие: другой переспит с девухой, встанет, отряхнется — и к другим блудить побрел, и не вспомнит о бедняжке. А Федор — нищий, а как о своем дите заботится. Вот и жили Федор-Павла с дитятей даже почти не впроголодь. А когда кто сердобольный и одежду какую поношенную давал. Сначала, понятно, для порядка мораль прочитавши: вот, мол, куда грех-то заводит.

И всякую мораль выносила Павла, только смиренно кланялась и благодарила. А тут уже и Октябрьская революция произошла, и ругать ее стали как бывший опиум для народа, дармоедством попрекали, гнали отовсюду. Голодуха началась страшная, народ совсем озверел.

Стали тут к игумену приступать монахи: пошто, дескать, батька, Федора с сынком неповинным, младенем Божьим, так терзаешь? Сам, что ль, безгрешен? «Вы что́, — скрипит на них игумен, — в профсоюз что ли большевицкий поступили? Против Бога и властей духовных идете?» Но сам все-ж-таки испугался: времена не прежние. Принял опять Федора с дитятей в монастырь: еще в те времена не начали монастыри-то ликвидировать; переименовались только они в братские трудовые коммуны.

А тут и другое проистекло: прапорщик бывший, а ныне красный командир и большевик Сидор Остапович Иванченко-Беспощадный, тот самый, что Алену обрюхатил, никак ее, как ни трудно этому поверить, позабыть не мог: — славная, мол, девка была . . . Скольких имел, а

эта, хоть и изнасильничал ее, а такая, видать, пылкая, — чистый огонь... — Вот и возвратился он в тот город — и к Брюшковым. Брюшков, понятно, теперь не хозяин гостиницы, а директор первого коммунистического Дома Крестьянина имени тов. Карла Либкнехта. Времена военного коммунизма были приткие, безо всяких задержек, — и зарегистрировал свой законный брак с Аленой Брюшковой в Загсе красный командир и большевик Сидор Беспощадный без отлагательства. Тут же и про младенца всё вызнал: «Да где же это мой законный наследник? Как-звать Сидорыч, — да видеть его желаю сей же минуту!»

Покаялись отец с Аленой, что как родилось дитя, так и поклепали они на монаха Федора, а вскоре ему же и сына Сидора Остаповича подкинули. Нахмурился было красный командир Иванченко-Беспощадный, особенно как узнал, что монах Федор молод и красив собою, что-то в смысле подозрения и ревности почувствовал, — да после одумался, захохотал, в ладони захлопал:

— Так, говоришь, долгогривому такую мараль izdelали? Здорово! Так им, кобелям и народным обманщикам, и надо! Но за сыном едем сей же момент.

Прикатили в монастырь — и к игумену. Игумен, как завидел красного командира и большевика при шашке и пистолетах, до смерти испугался. Плохо даже соображал вначале, чего от него хотят. А как понял, наконец, так весь от стыда и горечи зашелся — аж захлебываться

стал, как пеленашка, что пузыри пускает у материной груди, — такая стыдоба, такое раскаяние его проняло: вот, мол, Федора как терзал, а Федор-то ни в чем не повинен. Ну, да человек каждый, будь то мирянин или игумен, если и грешен, то грех свой, вину свою всё стремится на других своротить. Вызывает, следовательно, и игумен Федора, и грозно и сурово так ему:

— Что же ты, лиходей, со всеми нами произвел? В грех и меня, и всех нас ввел?! Что ж не сказывал, что нет твоей вины, что сын-то не твой вовсе? Искусил ведь всех . . . Такое смирение паче гордости.

А Федор, Павла, значит, только смиренно кланяется — да тихо так:

— Простите, отче, грешен я. Простите, Христа-Бога ради . . .

У самой же всё в груди обрывается: отнимут-то сына от нее, хоть и не рожденного ею в муках, но принятого как бы прямо из своей трубы, прямо из глубины женской.

Недолго после прожила Павла. И времена настали лютые, монастыри ликвидировать под корень начали, всё из церквей поразграбили власти, голод косить народ стал пуще прежнего. А здоровье-то у Павлы подорванное бродяжеством и монастырским строгим режимом. И последнего удара не вынесла. Отдала-то Аверьяна своего так же покорно и смиренно:

— Бог его дал, Бог и отнял. Да будет воля Его святая. Так тому и быть.

Но натура-то женская не выдержала. Вскоре поутру нашли ее в ее келье уже остывшей, совсем заоченелой. А лик ее светился, что солнце. Стали брата Федора обмывать-обряжать к погребению — ан, глядь, не Федор то, а женщина.

— Грех-то какой! — весь вскипел игумен. — Какой раз она нас во искушение вводит . . . Нет ей погребения братского, христианского!

И не видит даже, что вся Павла светится тихим, немеркнущим светом. Только тогда и понял, когда подошел к Павле покойной давний слепец, брат Онуфрий, опираясь на плечо отрока-послушника. Подошел — и прозрел сразу. А тогда уже игумен, и братия, возгласили:

— Блаженная смиренница Федора, моли Бога о нас!

Вот видишь, как оно. А ты говоришь: нет теперь чудес на земле. Иметь только глаза надо.

1970

РАДОСТЬ

Эх вы, пустобрехи несчастные! Вам бы га-га, да га-га, что твои гуси, прости Господи! Ну, разве ж невдомек вам, что ежели есть кто несчастней несчастного у нас, на Руси, так это баба? Пожалеть ее надо? Надо! А как ее пожалеть-то, ежели не отнестись к ней в первый черед как к бабе? То-то! Ведь муж-то ее и сапогом под ребра, и кнутом, и из мата в мат, — явится часто пьяный в дым, заблеванный, прости Господи, и лезет к жене с кулаками и ласками... Я ж никогда сам к ним не добивался. А вот приду, странник Божий, с ласкою, с утешением, пожалею, поплачу даже вместе, потом рассмешу, развеселю, подбодрю — вот и размякнет бабонька, вот и спрямится. А совсем человеком себя почует, как сама, понимаешь, сама к тебе придет. Впотай, конечно, когда ни-ни, никому то не вдогадку.

А я не только к бабам был ласков: и детишкам смастерю когда из щепочек кукол или лошадок, солдатишек там — простым ножом сапожным резать всякую всячину сыздетства умею. И с мужиками про божественное, а то и про жисть ихнюю поговорю. И по хозяйству

где помогу — никогда не побирался: я и печку сложить соображаю, и по плотницкой части кое-что в состоянии.

Определили меня в монастырь, как шестнадцать мне, что ли, стукнуло. Но не долго я там пробыл: не по душе пришлось. Ведь Спас наш как юношу сказал? Хорошему юношу, добромu. Ежели хочешь, сказал, спасись, — оставь всех и все: и отца с матерью оставь, и имущество все свое. От всего откажись — и иди за Мною. А монахи — они-то от чего отказываются? Идут ли за Христом? Христос-то, братки, не имел где главу преклонить, странником бездомным всю жизнь был. И уж по части злобы — на то монахи всегда мастера . . . Вот и бежал я с монастыря, даже от имени отказался, стал бегуном — человеком Божьим. В старое время нётовцами нас называли. И теперь тоже — сижу с вами, а имя мое только Богу известно: как ни бил меня следователь, не сказал ему . . .

А какая радость Божья вот так, всю жизнь по земле Господней брести! Не знать, где завтра заночуешь. Ну, часто и в царское время ловили — и в тюрьму, а то и по этапу — «на место жительства». А какое мое место жительства, когда я — христианин, когда пачпорт еще в монастыре, перед уходом, значит, исхитрился изорвать на мелкие подробности. Какое там место жительства, когда я — христианин, а значит только Бог надо мной, — да я под Богом. А начальство разное — царь ли и его слуги, комиссары ли — это только пленники духа нечистого, несчастные подневольные слуги сатанины.

Идешь, песни поешь, солнышко ли греет, дождь ли сечет — все ко благу, все Бог для нас уготовал. Не злобись только — радуйся. Бабы, говорите? Так говорю ж вам, пустобрехи, — разве обижал я их? А в ласке — какой грех? От ласки загораются глазки, — сказано. Иной раз даже и не полюбится, а окажешь бабешке внимание, пожалеешь ее. Шла со мною, помню, около недели тоже странница. Тощая, одноглазая — глаз какой-то охальник выбил: напоил, насильничал — да и избил до полусмерти. Уж такая была разнесчастливая! И страшенная, и подстарковатая уже. Пожалел я ее. А как, значит, уже после этого, прямо расцвела она, даже чудок похорошела, — и держится, сказать можно, прямо хозяйкой моей: так женское в ней возгордилось. Но я говорю ей тут:

— Эх, сестра! Люблю, мол, тебя, — да расстаться нам надобно. Мы ведь с тобою не монах с монашкой — не чурбак с чурбашкой. Коли вместе будем странствовать, — никто нам не даст ни работки, ни щец махотки: скажет: блудни старые. А жить-то нам, с тобою, сестра, еще надо. Надо, ведь?

Вздохнула она, перекрестили мы друг дружку на дорожку, да и подались в разные стороны. И вот, скажете, блуд, — а я-то думаю, что за ложь эту — будто полюбил ее, — много мне Господь грехов простит: ведь совсем уже по земле стелилась, а тут — распрямилась, что твоя березка после грозы, — и веселыми ногами по земле пошла. Нет, братцы, и ложь бывает во спасенье . . .

Да! Радуйтесь, братки: всюду и всегда радуйтесь. А особенно стал я внутренне радостен, как в прошлый раз сидел в ГПУ в Саратове. Сидел там со мною пастор один — кальвинской веры. Мрачный и скучный такой. Иван Карлович Шульц. Как и теперь, столько нас тогда сидело, что и смертники и не-смертники в одной камере натолканы бывали. Вот. перед тем, как вызвали Шульца с вещами, на расстрел, значит, — все толковал он со мною. И все по-ихнему, по-кальвински, выходило сурово так, что Бог заранее все распределил: кому — спастись, а кому — в муку вековечную. «Ведь, — говорил он мне, — как же иначе, коли Бог-то — Вседержитель, Всеведущий».

— Что ты мелешь, — отвечаю ему, — где ж тогда наша вольная воля? Чего тогда и спастись, — раз уже все заранее спланировано — кто куда? И что ты думаешь, для Бога то же время, что и для нас? День прошел, — и нет его. Оторвал, скажем, листок с календаря — вот и пропало все, что давеча случилось. Нет, говорю, — для Бога нет ни вчера, ни завтра — все вечное сейчас. И потому, хотя и вольны мы, но Он-то, Создатель, видит все разом — и концы, и начала, и вчера — и завтра.

И тогда особенно задумался я: до чего же Бог несчастен! Видеть все сразу, все горести и все грехи, — и не мочь ничему помочь: ведь иначе — где же наша вольная воля? И думаю: не единожды, а вечно распинается Господь наш на кресте вечного страдания: эдакую муку ради нас и воли нашей терпеть! Все знать, все ви-

деть — и ничего не мочь — при всем всемогуществе Своем. И обуяло меня тогда такое светлое счастье: только тогда воистину понял — что всю решительно горечь земли принял за нас и вместо нас Спаситель наш. А за что, спрашивается? Мы-то чем заслужили? А раз не заслужили, то тем боле радоваться надо. Как тот радовался, сын блудный . . .

Выпустили меня на тот раз из ГПУ — иду и всему радуюсь, как младень какой . . .

Безымянного? Я это. С вещами? Ну, какие у бегствующего мира вещи! Прощайте, братки. На этом свете уже не свидимся. Не поминайте лихом!

1971

Л И Ч И Н А

Старое предание

Дело, брат, не в двоперстии или щепоти, не в крыже и сугубой алиллуйе. Понапрасну нас упрекают в обрядобесии. Дело в том, чтобы не потерять лик человеческий, не слиться с натащенной на себя личиной. А это — самое страшное, что есть на Божьем свете. Есть у нас старое преданье. Вот послушай.

Удумал царь Петр и летоисчисление христианское порушить. Смыслу вопреки перенес новолетие с сентября первого на первое января. Ране всё было разумно: урожай собрали, уравились с кругом работ годовых, — вот и начинай новый год. Ну, да разве поступал Петр по уму-разуму? Нет, была у него своя материалистическая диалектика. Ему лишь бы рушить и переламывать всё на чужой манер. А по случаю нового новолетия боле недели с великим шумством кутили и безобразили, разъезжали в санях ряженные, в машкерах, в дымину хмельные, бесстудные, матершинничающие по всей Москве. И каждый ряженный и повадкой своей, и голосом старался соответствовать ряженью и

личине своей. Кто — в вывернутой мехом наружу медвежьей шубе, в малахае медвежьем и медвежьей машкере по-медвежьи лапал встречных баб и девок, топал грузно ножищами, густо рычал, давил лапами хозяев и хозяек в домах, куда вваливались; кто в волчьем обличьи визжал и кусался; кто, боровом обряженный, хрюкал, мордой лез в блюда с ёдовом, пятакон личины задирали бабы юбки; кто, наряженный туркой, воротил морду свою от поросятины и рубил саблей блюда на столе хозяйском — будто то он головы христианам сечет. А кто, ряженный бабой брюхатой, верещал тонким голосом и плыл враскачку, ровно утка. Всякие бывали личины! И вот что примечательно: коли надевал кто личину добра и милосердия, — тот бывал особенно зол и гнусен. Видать, не терпит Господь ряженой добродетели — оборачивается она сугубым злом и жесточью.

Прошли дни веселья бесовского и великого шумства. Захотели царь и приспешники его снять личины — ан, нет! Накрепко приросли они к лицам и телесам — не содрать даже с большой кровью. Не попускает, знать, Бог, чтобы долго творения Его личину носили и лик свой, Богом данный, при сем сохранили. Ну, обрядились поверх машкератных нарядов — медведьих, волчьих, свиных, обезьяньих, турецких, арапских — в платье немецкое да голландское, а натура-то, а повадка-то, а нрав-то, а морда-то осталась звериная — личина лик заменила. И пошли чада и поколенья Петровы по Руси рыскать по-волчьи, по-шакальи; пошли давить люд

крещеный по-медвежьи; пошли, как свиньи, подрывать корни дерева, от коего кормились сами — Церковь Правую Исусову; пошли мужики — не мужики: бабья вся повадка — не гляди, что в штанах . . .

А хуже всех те, что личину благодетелей вздели. От них беды поболее, чем от медвежьих морд, свиных рыл да волчьих харь: тех хоть сразу видать.

Скажешь, не только у нас, на Руси, повелось такое? Ну, ясное дело, повсюду. Всюду так. А кто досе лик сохранил, — даже те страшатся миру его открыть: и те в личинах ходят. Мол, не по-модному, не по-людски с нагим ликом в свет соваться: засмеют, а то и хуже . . . Ох, боюсь я, что и у них личина прирастет скоро . . .

1971

Которые, конечно, по сухопутью всё, — те еще могут не верить в нечистиков. Ну, а мы, как нам иной раз и подале, чем за Новую Землю, ходить приходилось, — мы, что студёным морем вскормлены, что ветрами колючими обдываны, — нам-то на сто процентов известно, что нечисти на свете полным полно. Вот слушай.

Приходит как-то в нашу рыболовецкую артель лейтенантишко — из органов, значит. Говорит: ихний транспорт водный чтой-то подкачал, гдей-то подзадержался, а надо в срочном порядке перебросить на Вайгач с Амдермы нескольких спецов — из заключенных, понятно. И с ними двух попок с винтарями. А нам, по верх платы, предлагают еще по два литра спирту на брата. Почему не перекинуть? Можно, говорим.

Пришли, значит, эти зека — геолух, инженерá, — народ весь ветром поддутый. С ними бурильщик из бывших служителей культа — здоровенный такой прежний дьякон. Видать, не только на воле, а и в лагере пьянюга отчаянный. Ну, а вертухаи — они только покрики-

вают на зеков, а сами, видать, боятся до смерти дьякона. Такой ведь и без винта как смажет ручищей — и ваших нет.

Пошли, значит. По началу море не дюже сердитое. Да только по началу. А в скорости как начало качать, оба вертухая полегли, винтовки под себя (боятся, понятно), и через борт их выворачивает. А бывший дьякон — ничего. Только обувка на нем, по случаю палубной мокрети, не подходящая никак: склизко ему, потому ботинки третьего срока и производства из выбракованных автопокрышек. Босому-то в такую пору на море способней. А руки у дьякона занятые — держится обоима за перила, чтоб, значит, не смыло. Вот дьякон-то и крикни:

— Хоть бы чёрт какой снял мои шлёры — спасу нет: скользят, дьяволы, и воды верхом набравшись . . .

Глянь — а обувка его сама собой с ног слетает. Веревки, что наместо шнурков, сами по себе развязываются — и один башмак уже с ноги долой. Ну, дьякон, понятно, спужался:

— Господи прости, — крестится, — что это за дьявольщина, спаси и оборони!

Дьяволам такие слова без надобности — вот чёрт-то второй ботинок недоразвязал, а с другим — бултых в море!

А на Вайгаче . . . Сам не видал, да наш председатель трудартели клянется: видел под Ивана Купала собственными глазами — на самой северной оконечности — сидит громаднейший чертуля, с ледакол аж величиной, черный, как смолью облитый, весь как есть голый, — и здо-

ровенными трехзубыми вилами вшей на себе бьет. Ночи-то у нас белые, свѣтло, — и фонаря ему не надо.

Рассказал об этом тогда же зекам — геолуху и инженерам, — похохатывают: говорят: опиум для народу. Один только из них потер переносье:

— Ишь, куда какой-то — уж не помню сейчас, не то Мив грецкой, не то Нефтун — забрался. Аж чудок не на самый полюс . . . И его раскулачили, значит . . .

И больше ничего не пояснил.

1971

Белые снѣги,
голубые снега,
ведьма на телеге —
костяная нога,
брешут волки,
летят колдуны,
хмурые толки,
седые валуны.
У проруби ведьмы полощут белье,
в лесу завывает уныло зверье. —
Нет, то полощут мертвых ребят,
ребят некрещенных вальками скубят.
Убийцы урчат в волчьей норе,
убийцы ворчат на царевом дворе,
несется Яга-Костяная Нога
во весь дух,
месяц свесил золотые рога,
крикнул петух . . .
Завертелось, загалдело, зашумело,
в землю — бряк! —
голый костяк,
а в глазницах, а в оскале
свежая кровь.
Завывает по-шакальи
новь.
Это — на колу мочала:

начинай рассказ сначала.
... Снегом вспахан воздух. Плящ закат.
В пустыню снежную равнин
бреду один —
со мною только черный конь, —
а на небе безответном вóроны кричат,
а в небе огонь.
И опять тишина
опрокинулась в ночь.

Луна.

Гукнул леший.
Под уздцы мою лошадь тянет бес,
ошарпанный, пеший,
в снежный лес.
На широкой поляне изба —
из костей некрещеных резьба,
тын — из русских умученных ног,
а засов — из младенческих рук, —
и в веселый мертвячий острог
заманул меня ветреный друг,
что в изыбшую душу залез, —
мелкий бес.
Черепасударики,
тусклые фонарики,
в глазницах светляки, —
а в избушку низкую
соберутся близкие
на помин легки.
Это — только ложный след:
начинай сначала бред.
Спотыкается усталый конь,
погас рассудка призрачный огонь,
и в даль бездонную синеющих снегов

бредут полки покинутых богов,
гудит как колокол замерзшая земля:
ей тяжело от божеских шагов,
бегущих из небесного кремля . . .
А мать и мачеха — сыра́-земля —
невестины одежды на цветные
меняет ежегодно, —
и свободно
хвалы шумят седые сосны, тополя,
и пташий хор звенит, богов моля . . .
Там Небо вечно,
бесконечно,
вечно,
вечно . . .

1942—1944

СКАЗКА О СОЛДАТЕ И СМЕРТИ

Казалось, воздух можно расколоть колуном. Он звенел и кололся, и мелкие острые опилки его вонзались в лицо, руки, царапали нос и обжигали губы.

Сутемень. Давно кончилась Иордань на небольшом — до дна промерзшем — ручье, близ огромного — тысяч в двадцать — степного села Медвеженского. Кроме боязливого, с бегающими просящими глазками, хромого батюшки о. Николая, на водосвятии осмелились побывать только несколько старух, да тощая попадья.

Медвеженское, как ни как — районный центр, а 1937 год не был годом либерализма и сердечного благоволения.

Но зато сейчас на улицы высыпали все. Ветхие старики, кряхтя, тащат хворост и «кизяки» — кирпичи из подстилочной соломы и навоза с глиной; ребята колят землю ломами и кирками, добираясь до непромерзших пластов ее. Смех, взвизги, шутки, щупанье, похлопывание рукавицы о рукавицу, песни.

Сам ответственный секретарь райкома, проходящий мимо особенно оживленной кучи парней и краснощеких молодок, усмехнулся в выцветшие стриженные усы: — Вали ребята!

— Вань, а Вань? Двинь еще разок-другой издеся: вишь, не земля, а лед...

— Манька, не лапайся с Минькой, — ворота дегтем смажем!

— Я ему давно чайник привязала, — какой ен ухажор!

— «Мине ча-айник привя-за-али,
Одино-оким я брожу-у-у»... —
заливается осипший баян.

— Что вы делаете, ребята? — спросил я у одной из толп. — Зачем разводите на улице столько костров?

— А покойников огнем крестим, дедов и прадедов своих отогреваем, — услышал я поразивший меня ответ...

— Так уж спокон веков повелось, чтоб на Крещенье отогревать, а на Святой кулича да паски, яичек и винца покойничкам родным принести... То же ведь мы не звери — понимаем...

Понимаю... Не вовсе застыла и моя захлавленная житейским дрязгом душа. И сколько дорогих покойников хочется ей отогреть.

И пусть не греет тусклое чужбинное солнце, — хватит, может быть, еще душе ее собственного огня!

Буду писать.

О чем? Как?

Да вот, вспомнилась мне одна старая народная легенда. Ущербная память моя достаточно сильно исказила ее, но и в изувеченном виде она сохраняет что-то стародавнее и подлинное.

**
*

Прослужил верой и правдой солдат четверть века на службе царской — в солдатчине государственной, выслужил сапоги с запасными подметками, портянки с теплыми подвертками, да три аржаных сухаря. И пошел наш солдат домой. А жил он в тридевяти царстве, в тридесяти государстве, — я не поручусь, что в том, где с тобой мы живем. Идет-бредет, а встречу ему ковыляет нищий гнойный, беспокойный, — еле бредет, песни поет.

— Дай, солдат, корочку . . .

— На тебе сухарь.

Отдал один — два осталось на всю путь-дорогу. А встречу еще более несчастный — Господи, прости наши согрешения! — просит:

— Солдат, дай хлеба кус . . .

— На тебе сухарь.

И остался солдат с одним сухарем, когда встрел еще одного попрошайку убогого. Дать ему полсухаря — обидится: догонит первых двух, скажет: — Чем я их-то хуже, что им по целому сухарю, а мне только половина?

— На тебе остатний сухарь, человек Божий . . .

А сам побрел, без хлеба, искать крова на ночь и хлебца на зуб: свет не без добрых людей.

Идет, а встречу ему опять старина ветхий, — ветром качает его:

— Помоги, служивый.

Рассерчал солдат: — Нет на вас погибели! Все раздал, — а вам нет и скончания . . .

— Знаю, — отвечает старик, — не серчай, добрый человек! Ты мне уже весь провиант свой скормил . . . —

И обратился вдруг в Господа Иисуса Христа.

— Проси, — говорит, — чего хочешь — все исполню по слову твоему: можешь три просьбы загадать Мне.

А Сам думает: «Попросит солдат бессмертия и блаженства райского, или нет?»

Подумал, подумал солдат: вспомнил все, что в книжках читывал и от старых людей слышивал, подсчитал что-то на пальцах, натер нос до блеска, — и говорит Спасу:

— Не хочу просить, Господи, богатства: раз не далось мне оно — впрок, знать, и не пойдет. А вот скучно мне — пожалуй мне картишки для отогнания доуки, рожок, чтобы душу веселил и ноги сами в пляс шли, как только заиграю; и торбу, из которой никто ничего спереть бы не смог, а в которую — я бы только два слова сказал, — все бы само лезло.

Усмехнулся Господь:

— Ин быть по-твоему . . . Смотри, не жалел бы потом, что так мало пожелал . . .

— И-и, Господи, я и желать-то на службе государственной разучился . . .

— Знаю Сам это, служивый . . .

И дал Господь солдату просимое им.

Пошел солдат и — зажил всласть: скучно — в рожок заиграет, и коли заиграет марш, — гляди, все в шеренги строятся и маршируют, коли танец какой сыграет — все без усталости пляшут, да и не только люди, а и зверье, и птицы, и даже гады пресмыкающиеся. Карты жа и вовсе оказались расчудесными: беспроигрышные: как ни сдавай, — все выигрываешь. Так что к торбе и обращаться не приходилось: все карты солдату давали: и деньги, и почет, и здоровье, и уважение.

Жил-жил солдат и состарился. И пришла к нему смерть с огромным мешком, сама костистая, желтая, шкелет один, — только глаза во впадинах светятся.

— Изволь, — говорит, — в дорожку собираться, служивый... Отслужил свое — теперь иди, червей собою подкармливай.

— Ладно, — отвечает ей солдат, — помирать — так помирать. Всем и всему кончение бывает. Генералы — и то помирают. А только дозвожь мне на прощанье на рожке солдатском зорю проиграть...

— Играй, коли охота есть, да только скорее, — у меня времени мало, а работенки не оберешься, — устало зевнула смерть — и хотела было присесть на край солдатской кровати.

Но тут солдат заиграл вальс, и смерть, кряхтя и охая, пустилась в пляс, бросив мешок и тархтя своими костями. А солдат, знай себе, играет и играет, — и в ус не дует. Кончил вальс — наигрывает трепак, а там, гляди, еще какой-то танец. Охает смерть, молит-просит солдата:

— Отпусти, служивый, — душу свою рас-
трясла я: легко сказать — на старости лет этак
костями трясти!

А солдат знает, что последний час его при-
шел, и что удавит его смерть, как только он иг-
рать перестанет, — и продолжает наигрывать
танец за танцем . . .

— Ох, — взмолилась смерть, — что хочешь,
обещаю тебе, — отпусти только домой — брось
играть на своей окаянной дудке . . .

— Ладно, — согласился солдат, — дай толь-
ко мне три года жизни . . .

Обрадовалась смерть — и давай Бог ноги!

А солдат еще три года прожил припеваючи.

Снова приходит к нему смерть, суровая, су-
хая — что твой батальонный командир.

— Идем, солдат, хватит небо коптить — в до-
рогу пора!

А сама одним глазом скосилась, — смотрит,
как бы солдат дудку свою не схватил.

— Хорошо, — отвечает солдат, — пойдем.
Вот уж сложу свою амуницию — да и в до-
рогу.

Сам же хватъ за торбу, раскрыл ее и шеп-
чет:

— Полезай, смерть, в мою торбу!

Глядь, — а смерть уже в торбе. Завязал ее
солдат — и повесил на крюке — на чердаке под
застрехой. А сам живет себе и живет в свое
удовольствие. Висела там смерть, висела — аж
пока веревочка не сотлела, на которой торба
привешена была, и смерть вместе с торбой не
сорвалась. Выскочила смерть из торбы, и давай

бежать! Отдышалась только в леску, недалече от солдатского дому.

Солдат же как раз собрался проведать ее — висит ли она еще на чердаке? Глядь — торба пустая, в пыли валяется, обрывки шнура тут же лежат, а смерти нет и в помине.

— Ну, задавит она теперь меня, — подумал солдат, собрал свои пожитки — рожок, картишки, сапоги с подметками, портянки с подвертками, да фунт табаку хорошего, сложил все в торбу, торбу, как ранец, за спину повесил — и ждет смерть свою.

Пришла за ним смерть — туча тучей, в глаза не смотрит, не говорит ни слова, сгребла солдата в свой мешок — и скорее ходу. Принесла его к райским вратам, спрашивает:

— Сюда, что ли?

А Господь и говорит солдату:

— Эх, служивый, — был бедняком — все сполна нищим раздал, а как стал богатеем — никому копейкой не помог.

— Разве не знаешь Ты, Господи, душу русскую? — отвечает Ему солдат: — как в нужде — нет ее лучше; как в беде — нет ее отзычивее, а как забогатееет — сразу Бога и совесть забывает . . .

— Ну, уж так и быть! — говорит Господь, — иди, служивый за твои три сухаря в рай . . .

И живет солдат в раю. Живет — поживает, на рожке песенки играет. Пляшут под песенки солдатские небесные штучки — вольные тучки, — и все бы ничего, да выпить в раю нечего, и табак у солдата кончился — ни ползакрутки

со вчерашнего дня не выкурил. Совсем извелся солдат. Спрашивает у встречных:

— Эй, дядя, где у вас здесь того... можно выпить посошок, другой, а то и косушку купить за полушку? И где у вас здесь табачку достать?

— Что ты, милый, — отвечают ему встречные святые — окстись, голубчик, — где же в раю шинкам быть, где же в раю видано, чтобы нос цыгарками грели?!

Заскучал солдат и просится туда, где табаку и вина вдосталь:

— Хорошо, — говорит ему Господь, — ступай в ад — там этого добра хватит...

Пришел солдат в ад. Видит — тепло и не дует. Табаку хоть отбавляй, вина казенного целые жбаны. Благодать! Устроился себе в уголке, набил на стенку гвоздей, навесил свою амуницию, сидит — трубку смолит, а иной раз в чарке усы и нос купает.

Не стало чертям житься от солдата. Хотят пройти мимо него — а он им орет, ругает их последними солдатскими словами:

— Здесь ходить не указано, здесь казенная амуниция висит...

Не то, чтобы к солдату подойти, и пройти мимо него опасно.

Вот и пристал к солдату один из старших чертей, — вроде бригадного генерала осанкой, хрипит также, и с отдышкой от сильного жару:

— Эй, служивый! Пора и честь знать: вторую неделю, как к нам в часть переведен, а пользы от тебя, как от козла молока... только зря табак жгешь и задаром казенное вино

жрешь. Иди-ка, милый, дрова под котлы с грешниками подкладывай . . .

— Э, брат, нет, не на таковского напал! — отвечает бесу солдат. — Я двадцать пять лет служил Богу и великому государю — и выслужил себе крест егорьевский, три сухаря, сапоги с подвертками казенные и покой . . . Чего же я тебя слушаться буду?

Захрипел бригадный чёрт, налился весь кровью, как буряк, затрясся: «Да я тебя . . .», — но не на робкого напал: солдат и в ус себе не дует.

— Хочешь, — говорит, — потешу тебя, старика. Научу играть в «тринку», «нос», «свои козыри», «короля»? О-очень интересно . . . а коли проиграю — бери и мое грешное тело в котел, а не то, чтобы мне свои старые кости ломать, да вам, чертям, на потеху дрова таскать.

Согласился чёрт. Сели играть, а солдат, знай, все выигрывает. Целый чувал золота, целый угол серебра понавывигрывал, и стал тут чёрт и на души грешников играть. Набрал их солдат несколько сот, как бежит к ним посланец-адъютант самого адского царя Сатаны, зовет бригадного чёрта перед очи грозные сатанинские: что, мол, старый чёрт, с ума сошел: скоро, мол, весь ад обезлюдишь, коли играть с этим дьяволом солдатом не перестанешь!

Вздыхнул солдат, поклялся выигранные золото, серебро и грешные души в торбу, ждет-пождет — что дальше будет.

Глядит — тащится к нему сам Сатана. Ноздри раздуты, из пасти пламя на сажень пышет, клыки ажно по земле волочатся . . . Схватил

солдат поскорее рожок свой — и стал наигрывать трепак.

Что тут случилось! Сатана пустился в пляс: коленастый и подагрический бригадный чёрт скачет вокруг него, как вьюн; молодые черти откалывают в присядку; грешники на сковородах скачут, как бешеные; в котлах дрыгают ногами, машут руками и головами; грешники, что на льду гольшом стоят, откалывают трепака еще получше молодых, приставленных к ним, нечистых . . .

Заиграл солдат марш — все зашагали. Сатана впереди, бригадный чёрт хрипит: «Слушай-ай ма-ю команду: ать-два-ать-два!» — и все косят глаза на солдата. Котлы опустели, сковороды стоят без грешников: весь ад марширует.

Произвели черти солдата в полковники: только прекрати играть, совсем, мол, из сил выбились! — перестали приставать к солдату. Только изредка по ночам, когда старшие черти спят, молодые нечистые таскались к солдату в картишки перекинуться: проиграют грешных душ две-три, да и назад, как ни в чем не бывало.

Но надоело солдату и в аду: на вольный воздух захотелось, Русь посмотреть потянуло. А черти его не пускают:

— Ты, — говорят, — теперь уже наш полковник, тебе нечего на Руси делать.

Вот и стал как-то солдат в аду чтой-то мерить и колышки забивать. Заинтересовались нечистые:

— Что это ты, ваше высокоблагородие, делаешь?

— А вот хочу, — отвечает, — монастырь здесь ставить — тут кельи для выигранных мною у вас, чертей, грешных душ, а здесь церкву соборную . . .

Испугались черти, побежали к Сатане, и всем скопом, с самим Сатаной во главе, выгнали солдата со всем его добром — живым и мертвым — из пекла.

Вышел солдат на Русь — и не узнал ее: лежит она вся сожженная, опустелая, изувеченная. Кого не спросит — все от него, как от чумы, отворачиваются.

Вздохнул солдат и поплелся со всем добром своим в рай. Подошел к вратам райским, выпустил из торбы все несколько сот выигранных им грешных душ, скомандовал им: «На колени!», а правофланговому передал торбу и сказал: — Как попадешь в рай, — тут же скажи только: «Торба, торба, пусть в тебе солдат очутится!» . . .

Смиловался Господь над грешниками, впустил их в рай, а они — на радостях и позабыли про солдата. И остался он в дьявольской полковничьей форме на Руси — без торбы, без рожка, без копейки денег и даже без сапог с теплыми подвертками: все в торбе осталось . . .

Побрел он по Руси, а от него все чураются, как от басурмана. Наконец, встретился ему какой-то служивый в фуражке с малиновым околышем, ласково назвал его «товарищем» и пригласил идти за собой . . .

... Кости солдата с дыркой в задней части черепа упокоились, наконец-таки, в родной земле...

Ну, скажите, как же не отогревать их хотя бы на Крещение? Грешные косточки, — а все же и они не без доброго, и от них был немалый прок.

А, главное, свои они, родные, нашинские!

1946

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОЛХВ

Ты не веришь мне? Почему не веришь ты мне? Ведь я слышал это от своего деда, а он — от своего, и в незапамятные времена уходит предание, и все свято верили ему. Слушай же и не перебивай меня.

Когда рождался Спаситель, звезда рождества Его была усмотрена четырьмя могущественнейшими и мудрейшими царями-волхвами. И был первым из них Вал-Та-Цзы, повелитель Китая. Был он весьма ветх и с большим трудом вставал каждый восход на молитву-размышление. В цветущем яблоневом саду, у маленького бассейна с золотыми рыбками, садился он на низкую инкрустированную перламутром и нефритом скамейку из полированного грушевого дерева и размышлял о Великом Пути, по которому должно идти все сущее к Великому Небу. Этот путь был путем добродетели и тишины, благорасположения, мудрости и кроткого смирения. По вечерам старый Вал-Та-Цзы снова, кряхтя и опираясь на плечи двух люби-

мых мальчиков-учеников, спускался в сад, глядел на звезды, свисавшие над ним из бездонных глубоких черных небесных сфер, и на звезды, ласково теплившиеся под ним в неглубокой чашке бассейна, редко возмущавшегося всплесками золотых рыбок. И Вал-Та-Цзы думал, что скоро ветхая плоть его приложится к земле и уйдет в цветение его сада, а душа полетит звездным путем к другому великому пути, продолжающему путь земной в небесную необозримую, по пути к Седьмому Небу Великого Промыслителя. И старец говорил себе и ученикам:

— Все хорошо, все свято, все мудро, все благо в нашем пути, великом пути к мудрой тишине Вечности.

И ученики звонко отвечали ему не совсем еще окрепшими и не совсем еще уверенными голосами: — Прав ты, учитель жизни!

Но сегодня незнакомая звезда приковала внимание мудрого Вал-Та-Цзы. Звезда не сияла спокойно-приветливо. Звезда пела, плясала на небе, звезда влекла в небывалую радость пути.

«Или старая юность забурлила в потухшей крови моей? Или я заблудился в небесной пустыне?» — думал мудрец. Но звезда веселила душу его и влекла дух его куда-то на Запад солнца, и Вал-Та-Цзы чувствовал, как крепнут ноги его и наливается юными соками все его тело. «Очевидно, народился Великий Учитель, путеводитель империй и народов, — рассудил старец и тронулся в путь на верблюдах с балдахинами из китовой кости и мореного дуба, сопровождаемый сонмом учеников и слуг, несших по-

дарки Царю Царей от великого императора, сына Неба, как его самого звали его подданные.

— Золото не нужно Ему, Мудрейшему. Оно — власть телесная и земная. Молитвенные дымы не нужны Ему, нашедшему мудрость: ладан нужен тем, кто еще привязан к земле и поклонению, склонен к любви земной. Как плавно-текущее миро — духовная тишина Просветленного. Мир умастит и Тело Его. Мир — мой дар Царю Царей.

А в это время, в нестерпимо жаркой Нубии, углядел звезду могучий царь Каспар. Был он совсем черным, ибо знойное солнце опалило кожу его и превратило его и подданных его в подобия фигур из эбенового дерева. Мельчайшие крутовертны стальной черненой проволоки его волос покрывали круглую как шар голову, а губы, выпяченные вперед и украшенные большим золотым кольцом, были красны и почти сближались с мясистым приплюснутым башмаком-носом. Каспар ходил совсем нагишом, только браслеты бренчали на руках и на ногах его, да пояс из страусовых перьев окружал чресла его.

— Родился Царь Сил. Великому Властителю лесов и пустынь, моря и неба, земли и огня надо принести в дар золото: оно — цвет власти и силы. Огромный Он как слон-поводырь, сильный Он как лев, мудрый Он как каменный питон. Море несет Ему дары свои, земля несет Ему дары свои, и я, Каспар, должен принести Ему дары свои — золото.

И Каспар плясал под звездой, спокойно стоявшей над ним, а затем двинувшейся на Полночь, к дальней земле иудеев. А за звездой, горевшей в высоком-высоком темно-синем небе, шел нестройный шумный караван Каспара, и царь Африки отплясывал, припевая, на всех привалах, и шакалы пустынь издали подвывали треску барабанов и хору рабынь и крепконогих невольников, покачивавших всем телом в такт широкосердой царской молитвенной пляске. Звезда благосклонно глядела на Каспара, молча и сосредоточенно, чуть-чуть улыбаясь, а Каспар слушал в тишине звезду, и ему казалось, что она шепчет ему: «Иди, Каспар, Царь Царей ждет тебя. Он даст тебе великую силу мышц и радость вечного детства».

И третьим увидал звезду великий король готский Карл-Мельхиор, суровый воин, проживавший на высоком Памире. Выше облаков был его дворец из грубо отесанных камней-валунов и крепких сосен и кедров, и дремучий лес окружал жилище его. А над вершинами могучих великанов-деревьев плыли далекие звезды, и в черной безграничности сущего блестела одна еще никем никогда невиданная звезда. И звезда безмолвно говорила с душою царя-воина и волхва:

«Ты один во вселенной. Ведь подданные твои так же одиноки, как и ты. В лесной дебри жизни одинокою скалою высится каждый человек, а выше всех ты, повелитель Памира, повелитель суровых одиноких воинов, скрежещущих зубами от ярости и соревнования, но подчиняю-

щихся тебе . . . пока не ослабел дух твой и мышцы мысли и воли твоей не упустили вожжи управления. Но все одиноки в вечности, все одиноки перед разящей смертью, и только Промыслитель, только Царь-Дух, Царь-Воля, Царь-Мысль, Царь-Слово Парящее соединяет нас с миром, с собой и друг с другом. И этот Царь родился. И дар Ему — ладан, ибо только сожигающиеся на огне святости благовония-молитвы во образе дыма кадильного несутся к неопостижимому и недостижимому подножию Престола Бога-Разума».

И с ладаном отправился за звездой к юго-западу король Карл-Мельхиор, и суровые воины-копьемосцы на черных конях следовали за ним.

— Он даст нам власть над миром, ибо мы — воины духа, мы — суровые борцы за мысль и железную броню ее — государство, ведение, силу.

У Ерусалима встретились волхвы-цари, цари царей, повелители царств великих. И пошли они к Ироду-царю, мелкому властителю, римскому рабу, трепещущему перед любым вахмистром великого Рима. И сказал Ироду черный Каспар:

— Слушай, братец, звезда привела нас к тебе. И теперь исчезла. И мы не знаем, куда дальше идти, дабы поклониться Великому Слону Слонов, Льву Львов, Сыну Повелителя Моря и Земли, Воздуха и Огня. Скажи же нам ты — ты, братец, местный — где найти нам Царя Царей?

Ничего не ответил Ирод, только злобный

огонек сверкнул в глубоко вдавленных глазах его. И тогда обратился к нему мудрец Вал-Та-Цзы:

— В мир явился Великий Учитель, Сын Неба и Царь Царей. Скажи, брат мой по скорби земной радости, брат по рабству смерти, брат по утлости надежд и упований наших, где найти Царя? Звезда привела нас к твоему домику, и мы не знаем — куда дальше направить стопы наши.

Но и ему ничего не ответил Ирод, только низко склонился и облобызал стопы его. Тогда вскричал король готский, повелитель Памира, Карл-Мельхиор:

— Дерзкий раб! Цари царей спрашивают тебя, убогого, — как пройти и поклониться Неизреченному Владыке, и ты скрываешь место рождения Его?! Говори, или я призову своего палача, и он удавит тебя, ибо негоже нам даже пальцем прикасаться к тебе, Иродом законно обруганному!

И Ирод, злобу затаив, отвечал тогда царям-волхвам:

— Где уж знать мне, глупому, где же ведать мне, убогому, — где и когда народился Повелитель Мира? Думаю я, раб и червь, что коль раз звезда довела вас сюда, то и далее поведет владык мира, а вы, повелители, не откажитесь на обратном пути заехать к рабу вашему Ироду и сказать — где же народившийся Царь Царей, и я тоже поползу к подножию престола Его — поклониться нищетой и скудоумием моим...

Топнул ногой король готский, повелитель

мира и Памира, леса и гор, от сих и до этих пор. Нахмурилось чело его, а рука потянулась к рогу — звать палача Касперле. Озверел от негодования и Каспар, и широкий ятаган наполовину извлек из кривых ножен, золотом и камнями усыпанных. Но мудрый Вал-Та-Цзы глянул в окно Иродова дворца и сказал:

— Идем, братья, звезда опять путь указывает нам . . .

И все пошли к яслям вифлеемским и поклонились Предвечному золотом, ладаном и маслом мудрости — миром благовонным. Ирод же, по уходе волхвов, обернулся к слугам своим. Гневом и гордостью, страхом и надменностью горело злое чело его. И сказал он слугам:

— Приведите кудесников и чародеев ко мне, дабы мог я допросить рабов моих о рабе моем, царем себя именующем.

А четвертый царь-волхв, Святослав Иванович, великий князь Русский, был еще молод и радостен — кровь-кипяток. Узрел он веселую и новую звезду, кинулся к звездочету своему придворному, но тот только руками развел: ничего, дескать, не понимаю, да и трубка глядельная ослабла — плохо видеть стал. Бросился сам князь и великий государь к книгам позвездным — нет такой звезды. И только в одной книге пророческой, гражданской кумы Царя Соломона, смотрит, сказано: появится та звезда, когда родится в мир Царь Царей, Отец наш Небесный. А у князя Святослава был старший дядя — многоумный старший дид-украинец, князь Омелько Богданович. Пошел к нему великий князь Свя-

тослав: так, мол, и так говорят пророческие книги халдейские, в Париже и Гамбурге немецкими буквами печатанные. Покрутил князь Омелько Богданович длинный сивый ус, навертел на желтый от табачица палец оселедец свой, совсем засеребрившийся, и процедил сквозь зубы:

— Ступай, чоловиче Божий, ибо то — Спас наш нараждается. Ступай, княже, поклонись Господу Сил. А допрежь того испроси материнское благословение, навеки нерушимое — на путь. Дорога дальняя: шляхами басурманскими, степями безводными — опасен путь в землю Ерусалимскую, на крутой пуп земли — к Алатырь-камню.

Не хотела мать отпускать князя-государя Святослава Ивановича. Плакала и причитала, умоляла сына не ехать в незнаемый неверный путь, через земли турецкие и татарские. Но — делать нечего! — упрям был князь Святослав. Благословила его матушка иконой явленной Николы Угодника, перекрестила, сухарей насушила, заедок испекла, а для дара Господу — хлеба духмяного аржаного каравай да меду стоялого корчагу дала:

— Поклонись Господу Богу нашему от чистого сердца и простоты душевной материнской лаской моей, да хлебушком российским святым!

Облачился князь и великий государь свято-русский в доспехи ратные, кликнул дружину хоробрую и, после молебна с водосвятием, сел на Гнедка своего, да и в путь.

Долго ли, коротко ли едет он через земли

неверные, и попадает в страну хана крымского. Сидит у Перекопа чудище чудное — татарва не татарва, арап не арап, а так что-то: не разбери-пойми: чистый нехристь и басурман. Встретил он князя с дружиной бранью самопоследней:

— Куда ты, неумытая русская рожа, пробираешься?!

Поглядел на него Святослав Иванович и говорит:

— Что ерепенишься, холоп? Еду я за звездою. Днем почиваю, ночью догоняю, дуракам не докучаю, а холопьям не отвечаю!

Как взъярилось чудище — князь Перекопа, разбойная душа, приложилось рожей к земле, дунуло, плюнуло — аж коня напрочь отнесло! А дружина вся вместе с лошадушками наземь попадала. Рассерчал князь Святослав, наехал на чудище, рубанул его сплеча, надвое посека, — где было одно, глядь, а уж на него два чудища прут. Рубанул их — четыре на дружину и самого князя наседают. Рубит князь, рубит дружина поганую нечисть, а она все растет и растет числом и силою. Смутилась дружина, дрогнула, наутек пустилась. А нечисть за нею. Вся полегла дружина-то, и сам Святослав Иванович в полон попал.

И томится он в полоне у чудища, как приезжает к тому чудищу сторожевому сам великий кудесник, сам злодей хан крымский, государь того чудища поганого. Собою зверовиден: один глаз в Арзамас, другой в Нижний; ноги кривые, как арбуз обнимают, а зубы — чисто собачьи клыки! Купил он великого князя Святослава у

чудища, да и увез к себе в Крым. А годы-то шли и шли . . .

Лет уже через десять вырвался светлый государь из полона татарского. Помог ему евнух ханский из тифлисских армян, да немец-доктор Фриц Эдуардыч, хоть и люторского папезного костелу униат, но человек добрый. Сел Святослав Иванович с контрабандистами царьградскими на баркас, да и ходу. Глянь, а за ними пароход таможенный турецкий гонится:

— Пропали, православные!

А пароход все ближе. Волною так и захлестывает, так и опрокидывает хлипкий плоскодонный баркасишко. Ну, тут растерялись контрабандисты. Хотели, понятно, досмотра избежать (в тюрягу-то сесть ни для кого не занимательно!) да и наутек! Но не выдержало суденышко того бегу. А тут еще с парохода из орудия бок баркасий продырявили, и пошла посудина ко дну. Никто не спасся, только Святослава Ивановича выловили турки, да генерал-паше подарили. Полюбил светлого государя паша. Сделал его своим садовым управляющим, кормил вдосыть, одевал в шелка да бархаты, работой не нудил, только все разговоры разговаривал, да от веры русской совращал. Но не поддался Святослав Иванович: — Хоть с живого кожу сдирайте, от Руси не отрекусь и от веры ее святой!

Прошло еще десять лет. И все не было случая бежать любимому рабу паше — великому князю Святославу Ивановичу. А тут пришел в Турещину целый французский торговый флот.

Товару парижского да берлинского понавезли видимо-невидимо! Ажно глаза разбегаются. Пошел паша с любимцем своим Святославом на пароходную пристань: товары выбирать, себя показать, людей поглядеть. Неотрывно смотрит русский князь на капитана французского: выручай, дескать, своего! Капитан тоже мигнул ему: понимаем! А покупал он в Турецине товары громадными ящиками. Вот ночью приходит тайком Святослав Иванович на пароход, боится нарваться на какого-нибудь незнакомца, может и активиста какого, — но капитан тут как тут. Садит его в пустой ящик из-под халвы, да в трюм! — под другие ящики. Отплыли, и лишь час спустя в порту грохнули пушки: помощник садовника паши того бдительность проявил, — вот и хватились, что любимый холоп паши сбежал.

Едут, едут, не доедут, а тут буря. Разбила-разметала буря корабль, а Святослава Ивановича на берег к арапам выбросила. Арапы страшные, черные, и на лице как сажа непроглядном только белые зубы сверкают. Дикие: по-русски ни гу-гу. Увидали Святослава Ивановича, кричат:

— Урус! Урус! Шён, зер гут, о-кей, припарковывайся, шерами, — кричат.

Схватили его, и к царю. Десять лет не мог убежать от арапов государь святорусский. Старым, сгорбленным вырвался он от арапского царя, передевшись гречином-торговцем, да и скрылся в пустыню. Идет, а звезда — та самая, только князю русскому зримаая, — ведет его в

Ерусалим. И идет Святослав Иванович, босой, избитый, израненый, голодный и в рубище, но духом крепкий. И приходит, наконец, в Ерусалим.

На улицах не протолкнуться! Толпы горожан и посадских, давя друг друга, бегут за взводом солдат, ведущим на казнь худого, обросшего длинными темно-русыми волосами человека. Волочит человек огромный крест деревянный, сгибается под тяжестью его до земли, а толпа улюлюкает, наседает. Солдаты злятся, а их начальник, в медной блестящей каске и со щетилистыми рыжими усищами, оборачивается к уличной босоте и злобно ругается последними солдатскими словами:

— Креста на вас нету! Воистину, хриstopродавцы, басурманы окаянные!

Оглянулся и Человек с крестом: чело кровавым потом покрыто, на лбу кровь от венца тернового, в кровь избиты руки и ноги, но очи! И таким светом торжества горит весь страдальческий лик Его! Хочет подбежать к Нему светлый государь русский, князь Святослав Иванович, хочет принять на себя крест Его, но начальник конвоя не пускает, бьет прикладом винтовки, а в это время какой-то иногородний, киринянин что ли, тоже не выдержавший взора Человека сего, бросился к Нему, осыпаясь ударами палок толпы и прикладов стражи, и на себя принял несение тяжкого креста Его. Поднялся упавший от удара солдатского Святослав Иванович, кинулся сквозь озверелую толпу ко кресту, хочет тоже пособить, чем может.

— Пусти, — кричит киринейнину, — устал ты и изранен, а я привыкши, меня жизнь вон как изломала, — и крест у того из рук рвет. Так и дошли оба, споря и ругаясь из-за креста, до места Лобного. А там взглянул Святослав на осужденного, проняла его и тоска, и радость, и свет, и жалость, — и спросил он начальника стражи:

— Кто этот Человек, служивый?

— Ты что, али вовсе неграмотный? Глянь на крест, — прохрипел, злобно косясь на князя, римлянин.

И понял Святослав Иванович, что солдат тот — добрый человек, и что злится он и ругается оттого, что на душе его темно и муторно — и казнить Праведника не вмоготу. Глянул государь русский на крест, а на нем дощечка прибита с надписью: ИСУС НАЗОРЕЙ ЦАРЬ ИУДЕЙСКИЙ. А на небе звезды зажигаются, и над местом Лобным звезда Вифлеемская стоит. Рухнул князь русский в ноги Спасителю:

— Прости меня, Исусе Христе, Царь Небесный! Опоздал раб Твой спасти Тебя!

Кротко глянул на него Христос, и ничего не сказал ему. Только показал глазами на Север: иди, мол, домой. Но не сразу ушел четвертый волхв Господень, и до смерти крестной и Воскресения Господня не отходил от креста Его. И с панихиды Господней свечу негасимую на Русь принес. А как пришел домой — благословил сына своего Владимира Святого во Христову веру

всю Русь окрестить. И свечу негасимую до Второго Пришествия Господня свято соблюдать.

А ты, чудной, не веришь мне!

Так от отцов и дедов повелось. Так прадеды сказывали. Так и нам заповедано. И оно так и есть.

1948

СОДЕРЖАНИЕ

Как оттиск букв неведомых на поле	6
---	---

ПРЕДАНЫЯ СТАРИНЫ ГЛУБОКОЙ

Вот получил. Не лепестки, а пыль	8
Веер нараспашку	9
Ведьма	16
Уши	19
Бывало	23

ГОРОДА, ГОРОДА . . .

Привет тебе, тысячу раз привет!	32
---------------------------------	----

Господин Великий Новгород:

1. Садко	33
2. Приложиться к холодному полу собора	35
3. Антониев монастырь	36
4. Феофан Грек	38
5. Фреска 1702 г. «Страшный Суд»	39
6. Крещение в древнем Новгороде	40
7. Вяжицкий монастырь близ Новгорода	41
8. Сиганули звезды с неба	42
9. Федор Стратилат на Ручье	43
10. Город сонный на реке могучей	44

Град Святыя Троицы:

1. Псков в марте 1943	45
2. Церковь Василия на Горке	46
3. Никола Каменноградский	47
4. Пароменье	48

Россия:

- | | |
|--------------------------------------|----|
| 1. Златозвезды прыщут с сини куполов | 49 |
| 2. Тяжелая вода воспоминаний . . . | 50 |

ОТ МИРА БЕГСТВУЮЩИЕ И МИР

Напрасно все: нет, не поймут тебя	52
Паозер	53
Сказанье о Павле Праведной	58
Радость	66
Личина	71
Мив	74
Белые снега	77
Сказка о солдате и смерти	80
Четвертый Волхв	92

КНИГИ БОРИСА ФИЛИППОВА

- Град Невидимый*. Стихи. Рига, 1944. Распродана.
- Кресты и перекрестки*. Рассказы. Изд. В. П. Камкина. Вашингтон, 1957, 159 стр.
- Ветер Скифии*. Стихи. Вашингтон, 1959, 48 стр. Распродана.
- Непогодъ*. Стихи. Вашингтон, 1960, 32 стр. Распродана.
- Сквозь тучи*. Повесть. Вашингтон, 1960, 191 стр.
- Пыльное солнце*. Рассказы. Вашингтон, 1961, 47 стр. Распродана.
- Время времени*. Стихи. Вашингтон, 1961, 32 стр. Распродана.
- Рубежи*. Стихи. Вашингтон, 1962, 24 стр. Распродана.
- Полустанки*. Рассказы. Вашингтон, 1962, 4+48 стр.
- Музыкальная шкатулка*. Рассказы. Вашингтон, 1963. Распродана.
- Стынущая вечность*. Стихи. Вашингтон, 1964, 16 стр.
- Кочевья*. Рассказы. Вашингтон, 1964, 59 стр. Распродана.
- Живое прошлое*. Литературные очерки. Вашингтон, 1965, 115 стр. Распродана.
- Тусклое оконце*. Рассказы, стихи, очерки. Нью-Йорк, 1967, 87 стр.
- Ветер свежееет . . .* Стихи и проза. Вашингтон, 1969, 48 стр.
- Мимоходом*. Рассказы, легенды, стихи. Вашингтон, 1970, 95 стр.